

ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН

ЗВЕЗДА

в ночи



"ЗЛАТОУСТ"
МЮНХЕН

ЕВГЕНИЙ ГАГАРИН

ЗВЕЗДА В НОЧИ

РАССКАЗЫ



«З Л А Т О У С Т»
Русское Зарубежное Издательство
МЮНХЕН
1947

Советский принц

Каждый раз при поездке на урок в Москву, он ходил в тюрьму на свидание с матерью. Сидела она в Бутырках и была приговорена к десяти годам лагерей на севере, как «ка-эрка»; с выполнением приговора ГПУ почему-то однако медлило; и так сидела она в тюрьме уже больше года. Свиданья полагались раз в две недели, но мальчишку пропускали чаще. Шел ему уже шестнадцатый год и был он долговяз и жилист, «породист», как говорили про него, и скорее велик для своих лет, а все веяло от него страшной незрелостью, беспомощностью, сиротством; „барчук“ — называли его часто на улице деревенские бабы. И сегодня надзиратель тотчас же пропустил его, хотя и ворчал для виду: «Опять пришел? Что-то ты, брат, часто шатаешься. Вымахал—верста, а все собак гоняешь... Пошел.» И он легонько толкнул мальчика коленком. «Это ты у меня там все стены исписал? Поймаю, — оборву все уши».

Как знаком был ему этот тюремный коридор с решеткой на конце, за которой появлялась мать! Не было тут ни скамьи, ни стула, но он радовался, что ввели его сегодня сюда, а не в палату для свиданий, — где ему пришлось бы разговаривать с матерью через две решетки и пространство между ними. Он стал, по обыкновению, толкаться от одной стены к другой, заплетаясь долговязыми ногами, и лениво читать надписи; рука его тянулась невольно к карандашу — он уже позабыл про окрик надзирателя. Громыхали где-то металлической посудой, лязгали ключами, стоял чисто тюремный гул, и воздух был здесь особенный, как будто заплесневелый, и каждая минута казалась часом. «Григорий» — написал он на стене и хотел уже переходить, не отрывая руки, к фамилии, чтобы получилось красивое соединение, как раздался тяжелый звон дверей и быстрые шаги. Шла его мать с надзирателем позади

«Мой мальчик», — страстно произнесла она, порываясь к решетке: «Гриша!»

Оба прижались плотно к решетке и, сквозь прутья, она целовала его голову и руки, притягивая их к себе, и как всегда первое время оба не говорили ни слова. Сегодня она казалась ему еще более возбужденной, чем последний раз, и особенно прекрасной. Никто не был так хорош, как его мать. Он глядел на ее высокий лоб, резко очерченный линией черных, гладко зачесанных волос, на ее расширенные глаза с черным ободком по краям и с таким выражением, как будто смотрела откуда-то издалека, на ее нежный тонкий рот, эту ее улыбку, словно она всех на свете жалела, и снова она казалась ему святой, похожей на Богородицу на одной иконе в их деревенской церкви. Но она была какая-то изменившаяся сегодня, «жаркая» — определил он неясно, по смутной ассоциации с тем состоянием, когда бывал болен и лежал в лихорадке.

«Мама, я тебе котлетки принес... от вчерашнего обеда. Но только ты не отдавай их мне». Он вынул из кармана сверток и протянул матери на бумажке две смятые картофельные котлеты.

«Мальчик мой», — все еще повторяла она, целуя его руки. «Мой милый Гриша, у меня все есть...»

«Нет, ма, ты должна... я вчера сберег...»

«Мы съедим их вместе.»

И, улыбнувшись, она отломил кусок от одной котлеты, а вторую дала ему и оба ели, или, вернее, она только делала вид, что ест, и, замирая сердцем, со страшной жалостью смотрела, как он жадно жевал, сильно ворочая скулами худого, почерневшего от солнца и пыли, словно выжженного, лица. А он ел и не замечал, как съел и первую и вторую котлету, и все время говорил со страшной нервностью:

«Ты знаешь, мама, Наташка ушла от нас совсем. В Москву, никто не знает к кому. Комиссар, который к нам с обыском приходил, — помнишь? — жирный гад... он на Наташку изо всех сил ластился. А она ушла в Москву — ловко!.. Наташкин отец — трус: думал, если она за коммуниста выйдет, его больше никогда не тронут... А ведь ты, мама, — женщина, и вот тебя арестовали и ты не боишься... Мы же не можем бояться. А он, чорт его, разменять таких надо, — правда, я не вру.» — заторопился он, заметив удивленное выражение матери.

«Гриша, как ты говоришь: разменять, жирный гад,— что это значит?»

«Я всегда так говорю. Разменять, это к — стенке, жирный гад...»

«Не слушая, она смотрела на него в тревоге: с каждым днем речь его становилась невозможной, он говорил уже на каком-то непонятном ей советско-криминальном аргю — среди кого он вращался? Среди уличных мальчишек, воров, беспризорных, он, у кого в жилах Рюрикова кровь! Как он породист! — она взглянула на него воспаленными глазами, — и как похож на отца... Это удлинненное тонкое лицо, с кожей столь нежной, что течение крови было уловимо, несмотря на грязь и загар, эта вытянутая шея, — Боже, как он поспешно глотает, как он голоден!.. И эти длинные несуразные руки и ноги... Где бы он ни вращался, он не станет плетеем или вором, — подумала она и горделивое счастье прошло в ней горячей волной, как вино. И вдруг она вспомнила, что у нее сегодня в камере делали обыск. Пропал кусок сала у какой-то заключенной, смотрели все вещи. У нее тоже, и у нее! Заподозрить ее в воровстве! Как они смели! Ее оттолкнули, когда она сказала, что не даст прикоснуться к своим вещам...

«Гриша!» — резко вскрикнула она, вся горя ненавистью и высокомерием: «Меня сегодня обыскивали, обвинили в воровстве, толкнули на пол. Ты слышишь?»

«Мама, мама,» — он смотрел на нее умоляющими глазами и целовал ее руки — «не надо!»

«Не надо?» — она отступила назад, по ее лицу ползли красные пятна — «Ты трус!.. Не хочешь защитить свою мать!.. Твоего отца расстреляли — ты забыл это? Кровь его должна жечь тебя беспрестанно. *Le sang de ton père. Tu doit le venger! ...*»

«Гражданка, не разговаривай по латынски, а то прекращу свидание» лениво сказал сторож.

„Voilà, il m'appelle citoyenne — этот хам!... Ты слышишь»

Он стоял, весь дрожа, у решетки и его тянуло биться о нее головой, или кого-нибудь бить, но нужно было сдерживаться, не волновать мать...

«16 лет!.. Через два года ты будешь совершеннолетним. Тогда тебя расстреляют... *Tu sera fusillé, toi aussi, comme ton père!* — Не забывай этого!.. Гриша,» — она кинулась к решетке и, как замертво, припала губами к его пушистым, редким волосам. («Он будет, конечно, как и отец, плешивым» — пришло ей на мгновение в голову). Она целовала его и не помнила, что говорила; жалость и любовь к нему жгли ее сердце, как пламя, испепеляя все другие чувства. А он вздрагивал и понемногу отходил... Последнее время так было почти на каждом свидании... Но сегодня, — подумал он, уже уходя, — сегодня мать была такая особенно жалкая!.. Он обер-

нулся еще раз назад. Издали из сумерок корридора она благословляла его размашистым крестом. —

С тех пор, как он себя помнил, жизнь его была овязана с обысками, арестами, тюрьмой, ссылкой, смертью. Когда ему исполнилось 5 лет, расстреляли его отца, бывшего гвардейского офицера, и, кажется, первым его впечатлением осталось, как ночью он проснулся в своей кровати от света и движения вокруг. В комнате ходили солдаты и все чего-то искали, а отец и мать сидели молча и им не помогали, хотя ему казалось, что солдаты ищут как раз то, что недавно перед тем прятал при нем отец. И так как его учили всегда помогать другим и, кроме того, ему стало скучно и хотелось самому искать, — то — он отчетливо помнил этот момент — он подбежал к солдатам и сказал, будто-бы, указывая на печку: «А здесь папа то же спытал». К счастью его не поняли, ибо почти до 10 лет он лопотал очень неясно. Был у него тогда огромный блестящий ключ, которым он любил играть. То был камергерский ключ его деда, но тогда он считал, — он тоже это помнил — что то ключ от царской спальни: отец запирал царя, когда тот спал, чтобы его не украли. Солдаты ключ нашли.

«Что 'за ключ?» — спросил один из них, — «откудова будет?»

„Камергерский“, — отвечала мать.

«Ты мне тең не наводи, гражданка», — рассердился солдат, вероятно не понимая ее: — «отвечай, говорю тебе, от какого сундука, что укрыла? Он — золотой?»

Мать пожала плечами, и солдаты ключ взяли, и тогда он, подбежав к ним, будто-бы закричал: «Это мой ключ, не тронь, я тебя убью!» Но никто не обращал на него внимания, и он стал просить солдата дать ему поиграть с ружьем. Когда повели отца, мать резко пошатнулась, молча хватилась за сердце, закусив губы, и вдруг кинулась отцу на грудь, а тот — высокий и сильный, — крестил ее, и целовал, и говорил все время: «Будь мужественна, будь мужественна!» А потом отец взял его на руки и он лопотал: «Папа, ты не бойся, когда я вырасту большой, я их убью».

Обо всем этом он знал больше из рассказов матери, чем сам помнил, а отца он уже не видел с тех пор, но первым жизненным впечатлением смутно залегло в нем навсегда чувство обиды за мать, за отца, за себя и это сознание: когда он вырастет, он должен отомстить. Дальше помнил он один страшный, черный день. — Сначала принесли мать без чувств; придя в себя, она долго билась на постели, и от страха он не мог даже плакать; приходили грустные люди и все молча плакали — в тот день расстреляли его отца. Он совсем не помнил его внешне, разве только, как он качал его на ноге и при том оглушительно смеялся, как кололись его щеки, и, при мысли о

нем, он представлял его себе всегда с гордостью, как существо высшее, храброе и сильное, вроде рыцарей Вальтер Скотта. Только царь мог еще с ним сравниться. А царя он себе представлял почти уже неземным существом, и ни за что не поверил бы, что царь пил, и ел, и спал, как обыкновенный человек, и даже думы о нем он сопровождал благоговением, робостью, как молитвы к Богу.

Вскоре после того страшного дня их выселили из Москвы, и они переехали в деревню в получасе езды пездом, где много было таких, как он с матерью, чьи мужья, отцы, дети были расстреляны или высланы. И с тех пор он не помнил вообще времени — ни одного дня, что бы кто-нибудь из их круга не сидел, чтобы не говорили о тюрьме, когда не нужно было бы носить передачу, и мать не бегала бы куда-нибудь хлопотать за близких или дальних, не собирала бы теплую одежду для высланных в Сибирь и на Север. Вместе с этим познал он голод, холод и произвол людей, лишивших их карточек, дров, света, запрещавших ему учиться в школе, как сыну расстрелянного; познал он горечь слез и обиды, когда кричали ему дети на улице вслед: «Отец расстрелян, отец расстрелян»; — и была у него к жизни жаркая, неутолимо безнадежная тяга, как ощущает ее, верно, зверь, травимый по пятам. Все товарищи его были такие же, как он сам, чьи отцы и матери тоже были или расстреляны, или сидели в лагерях, кого тоже не пускали в школу учиться; все игры их и песни, что они пели несли печать бездомности, отщепенства, обреченности; и — точно — едва подросстал кто-нибудь из них, как уж исчезал: если не в тюрьму, то куда-нибудь подальше от Москвы, где никто бы не знал их происхождения, а Сережка Полызин, что был старше его на 5 лет, пробовал бежать за границу, был схвачен и расстрелян! И все-таки эти первые годы в деревне были лучшими в его жизни; он вспоминал о них сейчас с тоской. А когда ему исполнилось 12 лет, матери удалось через кого-то влиятельного в Кремле, кажется через какого-то родственника из военных, перешедшего к красным, достать Грише разрешение на выезд за границу, в Лондон, где жил ее брат. Была весна и ему говорили, что он едет лишь в гости, на лето, только теперь он узнал, что его хотели отправить навсегда. Плакала мать на вокзале; ее лицо, обрамленное по монашески черным платком, и слезы, безудержно текшие по ее разом посеревшим щекам, и то, как она крестила и прижимала его к себе и совала ему в карман конфеты, и как вдруг вскрикнула, когда пошел поезд, и ощущение ее острых лопаток под его руками, — все это жгло его сердце всю дорогу и после у дяди заграничей. Как мог он уехать тогда от нее? И эта перемена жизни заграничей! Эти колбасы, сыры и бе-

лые хлеба в окнах и ах! — этот обессиливающий запах от ресторанов! Дядя страшно походил на мать, но был он какой — то не такой, как люди в Москве — словно не настоящий, а из театра, равно как и тетка и двоюродные братья в чудных костюмах, с галстуками, не умевшие даже по хорошему говорить по русски; все они были какие-то «не свои в доску», как например старый граф Алтуфьев в Москве, или Наташка, или Ивашка Сарепа. Дядя все плакался на бедность, тогда как — странно! — на столе всегда были масло, сахар, белый хлеб, сыр, колбаса, и обед состоял из трех блюд! И у всех было по три костюма и много ботинок! В Москве никто не имел больше одной пары. И он не верил этой бедности и думал, что дядя просто скупой. А тетка, любившая его повидимому, ибо наедине она часто прижимала его к груди и поливала слезами, — все вспоминала, что у нее всего одна прислуга!.. Мать не только сама варила обед, она сама мыла полы, стирала и шила! Но больше всего он не взлюбил своих двоюродных братьев, сверстников по возрасту. Они спали до 10, ботинки им чистила прислуга, они едва цедили слова при разговоре, носились со своими титулами; и — что его больше всего бесило, повидимому, стыдились, что они русские и говорили всегда по английски или по французски, а род свой выводили от шотландских рыцарей. «Фраеры», — думал он о них с презрением на своем московском арго, — «такие бы у нас живо подошли», — и страстно ждал, когда пройдет лето, и все копил для матери сахар и печенье — прятал в карман во время кофе или брал незаметно со стола. Приходили какие-то допотопные дамы с лорнетками смотреть на него, и тетка рассказывала им с ужасом про сахар по французски, думая, что он не понимает, и те качали головой и вздыхали.

„Pauvre Mimi, где она теперь! Тяжело иметь такого сына — совершенный дикарь». И тогда ему хотелось улюлюкать и ругаться, как московские беспризорные. А раз он услышал, что вечером придет в гости великий князь, и весь затрепетал от восторга и ожидания: вот оно, наконец, настоящее русское — родственник самого Царя!.. Он чувствовал себя как-бы ответственным за царя и все, что к нему относилось, и долго не мог придти в себя от недоумения и испуга, ибо великий князь оказался высоким, разнеженным человеком с припухлым бритым лицом, который жеманно, как женщина, растягивал слова, — что Гриша больше всего ненавидел — и сидел полуразвалившись на диване, и много ел, пил и курил, и все время говорил, что народ в России его помнит, тогда как его там никто не знал. А потом кто-то сказал: „Царь и Советы“, и Гриша не поверил своим ушам: ведь Советы убили царя?.. И он не верил больше, что это великий князь и родственник царя,

и окончательно возненавидел всю за границу, дядю и тетку и двоюродных братьев, и когда заговорили о войне и кто-то сказал, что японцы придут в Сибирь и прогонят большевиков, он громко заявил:

«Наши им покажут!»

«Ты большевик!» — закричал дядя — «Какие это наши!»

Но если это — не наши, то кто же были наши? — недоумевал Гриша. И, в конце концов, он сбежал из Лондона. Через неделю его поймали и вернули обратно, но дядя был теперь рад отослать его в Москву и избавиться от лишнего рта. «Он же большевик», говорил он в оправдание себе, разводя руками. И день возвращения в Москву, когда он, вырвавшись из вагона на перрон, сразу же увидел радостное лицо матери, и, сбросив вещи, шумно кинулся ей на шею, — этот день стал самым счастливым в его жизни, как и весь год, что последовал за ним, а Лондон совсем растаял в его памяти.

И опять пошли голод, обыски, разговоры о ссылке, о смерти, но все это было ему как то родней, привычней, не ощущал он здесь — с матерью и товарищами, такими же как он, — одиночества, хотя и чувствовал смутно меч, всегда занесенный над собой, над всеми ими. Ровно через год после его приезда арестовали мать. Как всегда пришли ночью, началась обыск, и он сидел, закусив губы и едва удерживая себя, чтоб не бить ногами и не броситься на этих людей, разрушавших им жизнь. Это не были „наши“, о которых он тосковал в Лондоне. „Наши“, казалось, были тоже где-то здесь, но они были врагами этих. Где-же, кто-же они — эти наши? — смутно гадал он, как вдруг мать, сидевшая все время молча рядом с ним, воскликнула громко: «Ах, как я рада, вот твои носки, Гриша, я их никак не могла найти.» Солдат, копавшийся в грудке тряпок, заметил: «Надо-бы аккуратней быть, гражданка. Шею у вас в грязи сломаешь, тоже дворяне!» — и указал на совершенно черный от пыли бюст военного, на котором полковник Хвостовский, друг покойного отца, бывавший у них, повесил надпись: «Это не негр, а русский генерал, герой 1812 года!» И тогда мать вспыхнула и вскрикнула: «Молчать! Вы убили моего мужа, вы ограбили нас, пустили по миру и еще смеете указывать!» Гриша успокаивал ее, сам дрожа от негодования, ибо мать работала, не покладая рук, с утра до ночи.

„Мама, мама!“ — шептал он, вспомнив сейчас про все это.

Жил он со дня ареста матери с двумя дальними тетками, — переехавшими к ним. Он любил их по своему, но были они тоже «не как надо», а вроде дяди и тетки в Лондоне. «Тетки твои, друг мой Гриша,» — говорил ему старый полковник Хвостовский, которого он обожал уже за одно то, что тот был

другом его отца, «имеют несчастье считать, что прошлое не прошло, как все люди, получившие от природы слишком мало ума и слишком много дворянства. В этом вся беда». Старшая тетка Нита была вдовой губернатора и революцию принимала за личную обиду себе, за происки каких-то таинственных «жидо-масонов», против которых в старое время боролся ее муж, считая, что произошла она только потому, что когда-то отменили крепостное право; она утверждала, что хорошо знает «простой народ», который ее очень любит, и в то же время была твердо убеждена, что порядочный человек может быть только военным, дипломатом или придворным, а врач или инженер это — уже низшая ступень и что недворянину не полагается, в сущности, протягивать руки. Почти каждую фразу она начинала словами: «Когда мой муж докладывал Государю...» или «Когда мы с мужем были на приеме во дворце...» — и Грише казалось, что революция произошла может быть потому, что около государя были люди вроде его дяди и тетки, и что государю было с ними вероятно очень трудно; а кончала она тем, что ее муж был бы теперь уж сенатором и камергером. „Сенатором — но разве это так важно, что ее муж не успел стать сенатором,“ — размышлял Гриша, — „когда ушла вся Россия?“ — Сестра ее, тетка Мари, получила от природы богатырское здоровье, но просидела несколько месяцев в тюрьме и с тех пор считала себя смертельно больной, минутно хваталась за сердце и говорила, что умирает; принимала постоянно капли, и в комнате от ее лекарств пахло как в аптеке. Все стены у теток были увешаны иконами и целый день не выводились у них пожилые, словно изъеденные молью, женщины, которые почему то все шептались, прикрывая рот ладонью, и непрестанно крестились; приходил также бывший монах Леонтий, рослый мужик с огромной рыжей бородой и масляными глазами. Тетки подходили к нему под благословение, он крестил им хлеб, чай, соль, сахар, без его благословения они ничего не ели. Сам он съедал за десятерых, чай пил часами, и большей частью хитро молчал; если же говорил, то выражался темно и односложно, на „Вы“ отзывался „мы“; в глазах его таилась явная мужицкая насмешка, но тетки и их гости боготворили его и ни одного шага не делали без благословения Леонтия. Гриша ненавидел его. „Монах“ подал половину продуктов, что собирались для передачи в тюрьму матери, а взамен давал бумажные иконки и все говорил: «Надо о душе, о душе — не хлебом единым жив человек...» Иногда Леонтий пророчествовал войну, что большевики скоро «провалятся во ад»: было ему знамение, и тогда тетки и гости их особенно яростно шептались, а одна, мать Настасья, как ее звали, самая яростная обожательница Леон-

тия, у которой он жил, свидетельствовала, закрывая глаза: «Святой, святой, ясновидец! Не пьет, не ест, всю ночь напролет молится... через стенку мне все слышно...» Эта «мать Настасья» была особенно ненавистна Грише. Она всегда страстно обнимала его и фальшиво, как казалось ему, утешала: «Сиротиночка ты, мой горемычный! А ты терпи. Господь учил терпеть и любить врагов своих.» Любить врагов своих?.. Как он мог любить тех, которые убили его отца, держали в тюрьме его мать и всех близких? И почему тогда сама „мать Настя“ злобно кричала, становясь похожей на злую курицу, когда вспоминала о своем прежнем богатстве, разоренном большевиками?.. Он никогда не целовал ей руки.

«Целуй ее руки,»—приказывала тетка.

«Не буду, она незамужняя женщина.»

«Целуй, она—вдова.»

«Не буду,»—упрямился он и выдумывал предлог: «она не дворянка».

«Как ты смеешь, нахал,»—кричала тетка Нита: «Как ты смеешь быть снобом! Ты должен сходитьсь с народом, вот как я. А наш род самый старый в России».

«Уж ты то бы молчала!»—думал Гриша, «спишь и во сне видишь только одно свое сенаторство и свою генеалогию!» И чтобы не видеть Леонтия и других гостей, он целыми днями пропадал из дому, если не к матери в тюрьму, то к ребятам в лес или на железную дорогу—кататься на буферах поездов; так росли они, чувствуя всем нутром свою родную землю, и все-таки чужие на ней.—

Он выбрал на Красную площадь. До урока оставалось еще больше часа, и он шел медленно, задерживаясь на любимых улицах и местах. Красная площадь была, как всегда, пустынна, и тотчас же на него повеяло чем-то музейным, единственным, неизъяснимо русским и близким. Светились радужно терема и пузатые луковки Василия Блаженного, знакомо, как в учебнике истории, чернели Пожарский и Минин с простертой рукой, розово сияли стены Кремля и возносились стройно остроконечные башни, роняя иногда стеклянный звон, напоминавший о каких-то древних временах, степях, татарах, польском нашествии; но вдруг вылетал—совершенно неправдоподобный—автомобиль из Кремля, красноармеец выходил из ворот, и очарование пропадало. Вот там был мавзолей Ленина. Странно!—он не чувствовал, почему то, злобы к мертвому. Тетки запрещали ему входить в мавзолей, однако он был раз там вместе с Наташкой и ничего не вынес, кроме чувства страха и неловкости, от вида серого человека, что лежал там под стеклянным колпаком.—

Учительница жила на Остоженке, недалеко от их бывшего дома. Он обогнул Кремль, вышел на набережную. Отсюда кремлевские соборы были еще ближе, жарко сияли на солнце их купола. Как странно было, что русские не смели больше посещать Кремля, когда здесь тайлась, в сущности, вся история России!.. За Кремлем он прошел поспешно мимо развалин храма Христа Спасителя. В знак победы над Наполеоном был он пострен—и этот конец!.. В зияющих грудях все еще копошились люди. А почти в самом начале Остоженки стоял когда то их дом. Теперь он был сломан; остался лишь задний флигель, где раньше жила прислуга. Мальчик приблизился к усадьбе, и-у него заняло сердце: была тут как бы мини-атюра его России! Ушла жизнь, и лишь какие-то руины на дворе еще теснились, доживая последние дни. Стояли древние липы над развалинами, над черным рваным железом, над грудями битого кирпича, и его точно обожгло сознание, что эти липы видели его отца, деда, весь его род; здесь гостил у них раз, говорят, Петр Великий. Он почувствовал гордость за себя и за Россию, что она имела Петра Великого! Горели высоко тонкие облака золотисто-сухим огнем, как распростертые крылья фазанов; дрожащий воздух сочился между липами, оранжево сияли крыша, стены ветхого домика, и казалось там на крыльце должен был вот—вот появиться, старый слуга, дворецкий Петр, служивший их семье больше столетия, и ставший уж не слугой, а родным человеком; когда господа засиживались вечером черезчур долго, он приходил в гостиную, без стеснения тушил свечи, отправляя спать. Милые времена!—вдохнул Гриша. И ему хотелось чтоб был сейчас такой-же древний, не теперешний вечер, на балконе сидели бы мать и отец, в вечерней тишине звонили-бы в колокола, реял бы тонкий синий воздух, и дворецкий Петр бродил-бы под окном, а няня Гавриловна внесла-бы чай и вишневое варенье. Вишневое варенье!.. Он пошевелил языком и опять вдохнул от неосуществимости своих желаний. Бедная ма! В Сибирь, на Север—только-бы она скорей вышла из тюрьмы,—он сразу же поехал-бы за нею!.. И он вспомнил, как, удаляясь по коридору, она крестила его; лицо ее лихорадочно сияло и была она похожа на привидение. Мама, мама! — его сердце рвалось к ней, полное тоски. Скоро будет день его рождения — пришло ему в голову, но тотчас же он спохватился: «16 лет! Тебя расстреляют!»—он содрогнулся. «Ну, так что-ж, пускай расстреляют... Похоронят меня»—запел он тихо песню беспризорных, —«и никто не узнает, где могила моя...»

«Гриша,»—раздалось вдруг громко сбоку, — «Принц!» Наташка стояла на другой стороне улицы и звала его, улыбаясь. Раньше она жила в той же деревне, что и он, и принадлежала

к их компании; это она прозвала его «принцем». А теперь Наташка ушла в Москву, и в деревню только изредка приезжала. Что она делала в Москве,—никто не знал; Наташка говорила, что нашла службу и смеялась лукаво. Одевалась она теперь как взрослая, хотя было ей всего 16 лет, мазала губы и курила папиросы. Ребята в деревне считали втайне, что Наташка пошла по «аферам».

«Ты куда?»—спросила Наташка,—«на урок?.. Профессором хочешь быть? Очки носить? Брось, все равно не стоит»,—она сплюнула презрительно на сторону. «Я знала, что тебя встречу и нарочно пришла»,—заговорила она другим, старым тоном. «Я сегодня к вам приду, Гриха... приходите к пруду».

«Придем, мы каждый день там»,—обрадованно ответил он. Они любили Наташку—все товарищи,—а теперь, когда она отказалась выйти замуж за чекиста, еще больше преклонялись перед нею, хоть и стеснялись почему то в ее присутствии...

«Придете»,—она обрадовалась, схватила его за руку: «Ну, значит, пока... Мне надо итти...» Она подмигнула и, уходя, запела вполголоса: «Ах мама, мама, какая драма—

Вчера девица, сегодня дама...»

Он смотрел сзади на ее изменившееся тело, на игру мускулов на спине, на выгиб талии, сильные, быстрые ноги на высоких каблуках, и что то горячее стеснило сладостно его грудь впервые в жизни, как будто вдруг стремительно разрослось сердце... „Опять на урок?“ — вспомнил он ее презрительное замечание. Как и его, и Тольку, и Ивашку, и Николу, — всех его приятелей—Наташку не пускали учиться в советскую школу, ибо была она дочерью генерала, и она тоже ходила раньше к частной учительнице на дом, но потом бросила. «Стану я время терять»,—заявила Наташка. Стоило ли в самом деле учиться? Зачем ему знать, как стол или стул по французски?—От этого жизнь никогда не изменится—ни у матери, ни у него самого.

Давала ему уроки старая дева, бывшая классная дама девичьего института. Должна она была преподавать по программе прежней гимназии, но ей было уже за 60 лет, она сама все перазбыла, после второго часа обычно уже утомлялась и засыпала, так что до математики и физики они никогда не доходили, и все время сидели на языках и Законе Божиим. На французском,—на котором он сам говорил лучше и замечал все ее ошибки—и на немецком она задавала ему, большей частью, стихи из учебников старого времени—те самые, что учили когда то институтки, вроде:

„Quand j'étais petit“ или „Es war einmal ein Kater“ и он не понимал: зачем ему все это? Но так как мать его учила,

Что необходимо всегда выполнять свой долг и что он никогда не должен огорчать женщину, то он запоминал с отвращением эти стихи и говорил их, стыдясь, на каждом уроке.

Сегодня был урок Закона Божьего и географии. Марья Николаевна, учительница, готовила себе обед, когда он пришел. Он сел в ее комнате в уголке у окна и терпеливо ждал. Муха блялась в окне, бессильно падая и вновь взлетая, в стремлении на волю; с жалобным упорным гудением тыкалась в стекло, как слепая. За окном жарко, шелестела черемуха, как сухое сено на лугу; терпко, горько пахло гниющей корой, катили неумолкая свои переливы воробьи. Он сидел понуро.

«Ну-с,»—сказала, как всегда, учительница, входя: «начнем. Сначала Закон Божий. Что есть молитва?»

«Молитва есть общение с Богом. Бывают молитвы благодарственные, просительные и умиленные... и возносятся они соответственно случаям жизни...»—начал он без запинки, как заучил по книге. Ему пришло вдруг в голову, что ни одна из его молитв не была, верно, услышана Богом, если ни разу он не получил ответа, а молился каждый день. Потом она спрашивала символ веры и качала недовольно головой, когда он путал порядок строф; не помнил он сегодня и тропаря своему святому, хотя много раз учил его и, собственно, знал; не помнил, когда празднуют «всем святым», ибо мысли его были с матерью и с Наташкой. Старуха совсем рассердилась, а он, глядя на нее, думал, что вот она, как и его тетки, знала наизусть, наверняка, все молитвы, тропари, все праздники, и стояла уж у гроба, а знала ли она, что такое жизнь, могла ли объяснить ему—зачем она жила?— и сомневался в этом. Так прошел час, они перешли к географии; старуха спросила: „Назови мне притоки Миссисипи?“—«Притоки Миссисипи?»—удивленно воспринял он. Образ матери стоял перед его глазами—как она кричала ему гневно: „Кровь твоего отца! Помни!“ Притоки Миссисипи?... Что общего было между матерью и притоками Миссисипи? Биение мухи на стекле отвлекало его внимание. Он раздавил муху, чтобы сосредоточиться, и вдруг осознал, что это было живое существо и умирая, вероятно, чувствовало боль... «Через два года тебя расстреляют!»—звучал голос матери. Будет ли он чувствовать боль, как эта муха? Но зачем ему нужны были тогда притоки Миссисипи, если его через два года расстреляют!? И он недоуменно слушал шамкающий голос:

«Ты лентяй, ты скверный мальчик, твоя мать в тюрьме, а ты бездельничаешь.»

Но именно потому, что его отца расстреляли, а его мать в тюрьме, он не знал притоков Миссисипи,—хотел возразить он, но ему стало жалко учительницы.

«Простите, Марья Николаевна» попросил он, целуя ее руку. „Больше не буду“.

„Ну ничего, ничего, хороший мальчик“. Она гладила его голову, видя, что он едва сдерживал слезы, и раскисалась уже в своих словах. «Скажи мне теперь какие-нибудь французские стихи».

„Quand j'étais petit, je n'étais pas grand. J'allais à l'école comme les petits enfants. Un pain dans ma poche, un crayon dans mon sac . . .“*)

Ему казалось сегодня, что время, к которому относились эти стихи, было вероятно необыкновенно, сказочно счастливым, но теперь уже навеки ушло, что были какие-то совсем иные дети, раз ходили они в школу „un pain dans ma poche“ — и что лучше было бы об этом не вспоминать, а позабыть. Старуха прервала урок, убежав на кухню, где у нее варилась каша. В раскрытую дверь доносились до него гудение примуса, женские голоса, тек запах дыма, керосина и супа. И это напомнило ему, как бывало еще недавно, он прибегал с улицы около полудня домой, когда мать тоже стояла на кухне, и давала ему что-нибудь поскорее перекусить перед обедом. Как ему хотелось есть!..

«Бабушка»,—не вытерпел он, когда учительница возвратилась: «Дай кусочек хлебушка... Есть страшно охота!..»

Бедный мальчик!—подумала старуха с жалостью и некоторой нерешительностью: получала она всего фунт хлеба на день,—это была ее главная еда. «Вот немножко—кушай, кушай»,—говорила она, умиленно смотря, как он поспешно и жадно глотает хлеб; было видно, как проходили куски в его длинной журавлиной шее. «На сегодня хватит, поучились... Я приду к тебе на рождение...»—

Домой он ехал, как всегда, на буфере вагона, чтоб не платить за билет. По дороге кондуктора не проверяли, да и не могли проверять,—поезда шли переполненными, а на вокзалах он знал все тайные выходы. Ехать было только полчаса, до первой станции, и там с версту итти до деревни; жили они в маленьком крестьянском домишке с полисадником, трое в одной комнате. На другой половине избы, в кухне, жил мужик с семьей. Угла своего у Гриши не было; уроки он готовил на подоконнике или в палисаднике, там, где мог приспособиться; летом спал на сеновале, а зимой на стульях, составляя их

(* Когда я был маленьким, я не был большим.

И бегал в школу как все дети:

Булочка в кармане, карандаш в ранц..

гуськом. В комнате развелись клопы и тараканы—набежали с другой, черной половины избы, где жил хозяин; было душно и беспорядочно: тетки мало проветривали, боясь сквозняков, и прибирать за собой не умели. Особенно много водилось клопов в рамках старых портретов, и Гриша с жалостью смотрел на изображения тучных военных и придворных, затейливо засиженные насекомыми, на старого генерала с бумажкой, что он—не негр, на пыльные, рваные книги в шкапах, которых никто никогда не читал.

Тетка Мария еще не встала, когда он пришел,—у нее была мигрень. А тетка Нита—сухая, чопорная—сидела у стола и делила сахар; утром Гриша сам получил его в лавке по карточкам за месяц назад. Тетка колола сахар щипцами на мелкие кусочки и раскладывала их на три части; Грише показалось, что в его банку она нарочно клала самые маленькие кусочки.

«Вы мне, тетя, самые маленькие кусочки кладете,» сказал он, думая о том, что мать весь свой сахар отдавала ему.

«Как ты смеешь, нахал!»—возмутилась тетка тяжело дыша.

«Как жаба!»,—подумал Гриша, уходя в полисадник. Он устал, ему хотелось есть, но он знал, что в присутствии старшей сестры тетка Мара, которая была добрей, не решится ему ничего дать. Надо было ждать обеда, пяти часов. Тетка Нита тоже не была, в сущности, злая, лишь какая то по детски эгоистичная: в первую очередь она всегда думала о себе, и вообще занималась только собой. «От избытка породы»—вспомнил он слова полковника Хвостовского. Он сел с книжкой на крылечко, но сильно палило солнце, кусались мухи, читать не хотелось.

«Это война, поверь мне, моя милая, я, как вдова генерала, знаю»,—долетел до него голос тетки Ниты. Она только что, видно, прочла газеты и, как всегда, пророчествовала войну. Никакой войны обычно, не случалось; тетка об этом, однако, позабывала, а возражений не терпела. Злоба охватила его вдруг. Тетки ничего толком не умели делать сами, только принимали гостей и разговаривали без конца, и ему пришло в голову, что если раньше все были такие, то, может быть, надо было сделать революцию. И он долго не верил больше в мигрень тетки Мары и в ее святость и считал притворством все ее вздохи, закатывание глаз, свячение воды и хлеба, беготню по церквам, тогда как дома тетки ни оком не говорили добром. Они ненавидели большевиков за то, что те отобрали усадьбы, а при встрече всячески льстили им и прикидывались, будто все шло хорошо. «А вот мама!»—подумал он с гордостью» «она не прикидывается, она говорит правду в лицо и не заис-

квивает перед коммунистами,—потому она и в тюрьме! И мама все умеет делать, все! Как—настоящая дворянка. Adel und Edel...! как говорил старый полковник.“

Под вечер он пошел в лес на озеро, где собиралась их компания. Было у него сегодня с собой несколько штук картофеля—удалось утаить от обеда; была соль. „Ребята тоже чтонибудь принесут, Наташка наверняка“,—соображал он—«может ершей наловим, уху сварим. Уха—была бы лафа!» До лесу шел он полем, межой. Рожь стояла густо, выше его ростом. „Уродил Бог в этом году,“ — вспомнил он разговоры баб в поезде. „А собирать то и некому, всех крестьян решили.“ Уж давно рожь выколосилась, давно созрела и стояла, изнемогая от собственного весу, спелости, будто вся истомившись от ожидания; дышала теплом и той благодатной силой, что несет в себе хлебное поле. От ветра рожь туманилась, рябь пробегала по ней, как по воде. Хлебная рать!—сравнил он; в самом деле казалось,—то идет, широко растянувшись, утомленное войско, взбирается на пригорки, спускается в долины; колыхались и поблескивали ланцеты на солнце—некая старинная, святая рать... На межах ярко желтели одуванчики, лютики, полз мышинный горошек; иногда шумно взлетали перепелки, сильно хлопая крыльями, и, точно мурлыча, неслись, ныряя совсем низко, над полем, и он радостно бил в ладоши — вот бы подстрелить!—Отец, говорят, хорошо стрелял—гусей на лету бил без промаху. Ах, здорово!—думал он. А над головой стояло какое то бесплотное сияние, небо было словно выжжено до тла, и несло кругом жаром и силой этого мира, — и сердце мальчика трепетало от радости жизни и света, и все-таки не могло, не смело вполне ей отдаться: мешало что-то, было не так, как надо, или не хватало чего-то... И та же рожь, и та же кашка, и мухи, и мошки, вдали коровы на пригорке, и картофель в нежных розовых цветах, и все-таки что то было не так, не так!.. Мама в тюрьме!—пришло ему в голову, поражая всей нелепостью, всем разительным несходством того, что он видел, и этого сознания...

А когда он вошел в бор и пошел, напрямик без дороги, осторожно ступая босыми ногами на пни и сосновые шишки, охватило его знакомое легкое чувство, как всегда здесь. В бору было много озер; то справа, то слева, меж стволов, дымясь, лоснилась вода. Но их озеро лежало укрыто, обнесенное соснами, как частоколом; за это они его и облюбовали. Водилось в нем много рыбы, окуня, и в прежние годы ходили сюда ребята со всех деревень удить на ночь; всюду вдоль берегов чернели следы от кострищ. А последнее время мало кто ходил сюда, кроме их кампании—деревни опустели. Уже издали он услышал голоса; Хвостовские были, видно, уже там!..

И, обжигая руки и ноги, он продрался на берег сквозь дикую заросль крапивы, возносившейся выше его роста, уже блеклой, осыпающейся и особенно благоуханной душимянки и Иван-Чая. Хвостовские сидели на берегу под сосной, все трое: Алеха, Ивашка и Мишка—младший брат, 6 лет, до смешного похожий лицом на Наполеона; оба старших удили.

«Наташка сегодня придет», — сообщил Гриша, «я ее в Москве видел. Клюет?»—спросил он. «Уху бы сварить, я картошки принес. А у вас есть что?»

«Картошка есть,»—ответил Алеха. А Наполеон громко закричал: «Мне луку на улице дали, вот!..»

«Ага, молодец Наполеон».—Гриша сел рядом с братьями: «Будем значит ловить, хлеба может Наташка принесет...»

Алеха и Ивашка Хвостовские были его главные друзья, неразлучно росли почти 10 лет; они тоже нигде не учились, происходили, как и он, из столбовых дворян, хотя отец их, частью из юмора, частью из предосторожности, и коверкал теперь свою фамилию, переставляя на простонародный лад ударение, но все знали, что семья графская. Разницей между семьями было, разве, лишь то, что у Гриши отца уже расстреляли, а у Хвостовских он еще жил; зато мать их умерла в тюрьме. Как и он, были они сухопары, жилисты, будто скручены из веревок; от вечного недоедания вымахали в высоту, как большинство детей этих голодных лет; и так-же, как и Гриша, ходили босые, грязные, оборванные, с красными потрескавшимися руками, со сбившимися волосами; Наполеон то и дело чесался и ковырял в носу,—и все-таки веяло от них породой; вопреки всему, было видно, что созданы они были для иной жизни—и сами они знали это. Гриша вспомнил своих лондонских кузенов и их смокинги. Для такой жизни?... Нет, Алеха, Ивашка, Наполеон были в миллион раз лучше: те были ффраеры, полотеры! Это для них нужны были притоки Миссисипи и стипендии—а не для него! Для него и Хвостовских были тюрьма и голод! «Не пойду на урок больше!» — решительно заключил он, разматывая удочку.

«На ершей, что ли?»—спросил он. Была здесь песчаная отмель, днем они купались тут, а вечером хорошо брали ерши со дна. «Не рано?»

Все трое молча сидели над удочками; Наполеон ушел за шишками и ветками для костра. Еще не клевало; было тихо. На середину озера мощно рушилось солнце, как будто там взрывались солнечные ядра, а у берегов вода была темна, казалась железной, непроницаемой. Иногда набегали упруго выгибающиеся волны, как огромные, темно—блещущие змеи, колебля прибрежные кувшинки, и распластываясь с легким шипением на берегу.

«Наташка, значит, придет?»—спросил вдруг Алеха. Наташка приходилась им сродни, они обожали ее и избегали говорить об ее уходе в Москву. «Помнишь»,—продолжал он оживленно, вытаскивая первого ерша: «помнишь, бывало, сколько ребят сюда приходило! Наполеон еще совсем маленьким был...»

С каждым годом их становилось все меньше и меньше. Не было Шевриных,—всю семью сослали в Туркестан, и из ребят там кто то, кажется, уже умер. Сережку Пользина расстреляли. Сарепту с матерью выпустили за границу, Валька сидела в тюрьме. Не приходили больше и ребята с деревни—много дворов раскулачили, хозяев разослали по всей России. Совсем мало осталось, с грустью подумал Гриша, вспоминая несколько счастливых лет, проведенных здесь до ареста матери,—пожалуй только он да Хвостовские, Наташка уже не в счет, раз она жила в Москве. Не в счет и Стенька Булыга, сын сосланного кулака из соседней деревни, хоть он и приходил еще иногда из Москвы. Стенька давно уже стал уркой, беспризорным, с тех пор как потерялся от отца и матери по дороге в Сибирь; этим летом он пришел в Москву и спал под котлами с асфальтом...

Наполеон с шумом пробился через заросли, принес хворосту и шишек в шапке, а за ним беспшумно, словно выростая из земли, так что все вздрогнули, возник Стенька Булыга, и с ним еще один мальчик, лет 16, весь выпачканный сажей, в овчинном полушубке на голом теле. Он коротко, по волчьей, озирался, не шевеля головы; по негритянски сверкали его зубы; видно было, что он всегда на стороже. „Урка, из беглых“—определил Гриша: „спит в котлах“.

„Здорово“,—развязно приветствовал Стенька: „В гости пришли, наше вам с кисточкой. А лягавых нет?“—он засмеялся: „Этот тоже с наших крестьянских, с Волги“,—указал он на спутника,—„Егор звать, таперь, известно, ширмач, наш брат... с лагеря ушел,—одна горя...“

Стенька приводил не в первый раз своих товарищей из Москвы, из беспризорных, и никто этого уже не пугался более, а сначала мальчики опасались урок, смущаясь их дикого вида—грязи, рвани и ругани. Оказались те, однако, вовсе не разбойниками, а такими же крестьянскими детьми, как сам Стенька, и в урки попали по неволе. И теперь Гриша смело подходил в Москве к беспризорным, и многие его знали уже и звали, как и Наташка: „Принц“.

„Садитесь“,—сказал он, подражая мужикам: „гостями будете“. Те сели. Егор взял у Наполеона хворост, щепу и ветви, сложил все в костер и ловко высек огонь из кремня; во всех его движениях сквозили навык, близость к природе и земле. Уже нарастали сумерки, ерши брали сильно, заглатывая весь

крючок, стремительно утаскивали поплавок. Егор налил в котелок воды и, извлеки нож на черенке откуда-то из своего, зицуна, деловито мыл и чистил рыбу. „Главное что бы печенку не задеть“,—говорил он, „а то горечь, все дело спортит“. И по скорости, и по сноровке, с какой он делал свое дело, как полоскал котелок, крошил лук и картофель и снимал навар с ухи, чувствовался в нем крестьянин, хозяин—эта кровь еще текла в нем.

От озера повеяло холодом, вдруг быстро налетел ветер, будто набежал крупный зверь, шумно раздвинув сосны, нагнувшиеся гибко с жалобным стоном; рябь понеслась по воде, как стая птиц. И вновь все стихло. Но озеро потемнело, стало похожим на холодный, блестящий асфальт; пробки на воде стали неразличимы, мальчики перестали удить и сели к огню. Костер горел с сухим свистом бездымным и невидимым пламенем, воздух над ним кипел, как вода. Постепенно темнело, лишь над дальним берегом еще лежали боковые лучи, создавая впечатление лестницы, нисходящей с неба; там, за лесом, был еще, несомненно, яркий день, а здесь в сумерках уже звонко кричали лягушки целым хором, крик их походил на утиный. Ивы над озером застыли, словно прислушиваясь. Мошки роились над огнем в какой-то неумолимой пляске, сутолочно наскакивая друг на друга; муравьи тянулись поспешно все в одном направлении, заканчивая свой трудовой день. Солнце зашло за лес, но нежный, вечерний свет покрывал еще вершины дальних сосен, горевших, казалось, внутренним огнем. И лес там был весь ярусный: черный внизу, бледно-розовый выше, совсем светлый на верху. Иногда, почти со звоном, пробивался отдельный прощальный луч, стремительные оранжевые иглы пронзали воздух и падали на воду, рассыпая свет, почти ощутимый, почти вещественный. Глядя на умолкшее озеро, на дальний, мирный свет над лесом, на синие стволы берез вблизи, на зеленое небо, льющееся сквозь листву, на кружение мошек, прислушиваясь к гудению комаров, говору мальчиков у костра, — Гриша подумал смутно, что земля осталась все той-же прежней, и так хорошо можно было бы жить на этом свете, и все же счастье было теперь невозможно — отчего же? Что то пришло в мир, чего раньше не было, и мешало хорошей жизни...

„Упрела“,—важно, объявил волжский мальчик, попробовав уху, снял котелок с огня и поставил его на чурбан. „Подсаживайся, кто желает.“

Алеха достал деревянные ложки из душла, где они всегда у них лежали. Но в этот момент остро хрустнула ветка, совсем близко послышались шаги. Егорка кинулся за дерево, хватаясь за бок, нож блеснул у него в руках. Вышла Наташа.

в городском платье, что делало ее странной здесь; в сумерках глаза ее были огромны, брови казались удлинненными.

„Наташка пришла, Наташка пришла“, — закричал Наполеон, забив в ладоши, и кинулся к ней. Егор вышел из-за дерева.

„Напугали совсем, барышня“, — сказал он, сверкая в темноте зубами. „А я уже за перышко взялся, думал писать придетя.“ Он указал на нож.

Наташа содрогнулась от его появления; она все еще молчала, и была сегодня, вообще, другая, не как всегда, казалась Грише.

„Ах, мама, мама, — какая драма“ — запела она тихо, как утром в городе, видимо от смущения.

„Брось, Наташка“, — прервал резко Алеха, ее кузен, „брось трепаться“.: И Наташка вдруг переменялась, стала опять своя, прежняя; она рассмеялась, шлепнулась около костра, как то по своему, по особенному, не сгибая ног, и тромко сказала:

„А у меня кило хлеба“.

„Хлебушка, это хорошо“, — объявил Булыга, — „без хлеба уха много хуже идет“.

Мальчики отломали по куску хлеба и все, кроме Наташи, начали хлебать уху из котелка, обжигаясь и дуя на ложки. Наташа ела только картофель; была она сегодня все-таки не как раньше — думал Гриша, и не мог понять, что с ней.

Стало совсем темно. Костер догорал, угли слабо тлели в темноте, похожие на глаза каких то животных. Наташа подбросила дров, с сухим треском поднялось пламя, и вновь встал над костром в тусклом блеске шипящий круг воздуха. Черты сидящих были почти неразличимы, лишь сверкали воспаленно глаза и остро выделялись скулы.

„Хороша уха“, — объявил Степан: „Нет лучше ухи с ершей. А, говорят, при царе народ каждый день мясо ел. Но врут, верно, пустое“, — добавил он убежденно.

„Нет, при царе — сказывают — жизнь важная была“, — отозвался другой парень: „У нас при царе хорошо жили“.

„А ты откуда?“

„С Волги мы, самарские“, — он помолчал и начал вдруг: „Коней, бывало, погоним на ночь в поле, ребята со всей деревни, вот тоже, как вы, костры разведем, рыбки наловим, уху сварим... Но у нас лучше. У вас места темные... А у нас Волга лежит, что из чистого серебра... Пароход идет, стучит, птицы поют. А поля, а луга цветут, — дух захватывает. Эх, хорошо у нас на Волге. Ну, — разорили“.

„Кулачки?“ — спросил из темноты Алеха.

„Хозяйство было справное: семья пять душ, две коровы, конь, овец две дюжины, пчельник, земли не в обрез. У нас места хорошие, земля родит, сыто жили. Однако все решили

товарищи. Сколько народу в Сибирь пошло, страсть!... Приехала тогда к нам на деревню комиссарша с городу, мать ее за ногу, извините, барышня, — обратился он в темноту к Наташе, «в кожанке, шпалер на боку, курва! В один день всех в чистую разделала, под корень, рев стоял на деревне, как скот резали. Я в Сибирь прямо босой пошел, почитай, как мать родила... Ну, в Сибири не долго мыкались. По первости девка, сестра, восемь лет, по дороге отстала».

„Точь в точь, как я,“ — обрадовался Стенька: „Потерялся от родителей по пути“...

„И остались мы четверо: тятка с мамкой, я, да брат меньшой Стенька. А в Сибири мороз пошел, ух, до чего лют мороз в Сибири — вспомнить страшно, а мы, почитай, босые и жрать нечего! Ну, мамка по скорости отдала Богу душу. Тятка плакал, Сенька плакал, а я не плакал, чего жалеть — все одно гибель. Однако, как Сенька помер, и я заревел — любил я его; а тут вижу, как воды надулся и стих. Батяка и говорит мне — ступай, говорит, куда хочешь, Егор, жизнь наша кончилась, ступай Егор, а я пойду в лес комиссаров резать — живым буду кишки спущать. Я и ушел... Всю зиму шел... чуть не замерз по дороге, но дошел до России... И к себе в Самарскую губернию. А там, Господи, Боже ты мой, узнать нельзя: всех порешили, не народ, а шкилеты землю жрут. Что делать! А жрать охота, тут я и стал ширмачем... По началу неловко было — крестьянин — и враз воровать, ну, а потом обик. А раз,“ — оживился он — „иду я в Самаре и вижу, мать честная, комиссарша, что нас разоряла, прет, портфель под боком, рожа красная, блестит, — чистый самовар. Ах, ты, думаю, паразит, сколько людей погубила, а сама по панели гуляешь, дыши, успевай, конец твой пришел! Прощел за нею, узнал, где на квартире стоит, а потом снял в лавке бутылку керосину и стою, жду... Смотрю, опять идет, хвостом вертит, чисто трясогузка. Тут я керосину в чашку плеснул, — из бутылки то не сручно, а чашку и ложку я завсегда с собою имею, — и ей на весь подол, спичку чирк, и пошла полыхать. Враз всю одежду обобрало, и зад стало видно. Вот смехота была! Мясо враз покраснело, пузырится, что свинина на сковородке, а комиссарша кричит, вередит, вертится, — ну, чисто свинью живьем жарят, братцы! Бяда!“

„Их жалеть не надо, сук,“ — объявил Степан.

„А что с ней дальше стало,“ — тихо спросила из темноты Наташка.

„А хрен ее знает, должно кончилась“.

Все замолчали. В тишине тонко звенели комары, кружась над огнем тучей. Егорка подкинул веток; повалил дым. И, смотря на его лицо, напоминавшее, почему то, лицо индейца, Гри-

ша вспомнил мать и ее слова: „Кровь отца!... Ты должен отомстить за него... Ты трус!“... Егорка отомстил... Он впал в раздумье и пришел в себя, когда тот вновь рассказывал:

„А был я, таперь, братцы, по всей Рассеи: у моря тепло-го и у моря студеного, в степях, в горах был и в пустынях, доходил до Ташкенту, — везде страдает, плачет народ! Какая пришла время! А прошедшим летом взяли меня облавой в Самаре, и — в конверт, в тюрьму. Сколько сидел, неч знаю, только слышу читают: Егор Шаррапов три года лагеря. Ну, повезли много народу, всех на Соловки говорят. Ладно, хорошо. А на пересылке схватила меня горячка, тиф зовется, вши одолели, видимо-невидимо. Лежу я на брюхе, ничего не вижу, мутно перед глазами, только слышу колеса: тик-так, а все-же думаю: уйду, шалишь, брат, жив буду, — уйду. А сам вшей в коробку собираю — при случае может где комиссару пуцу... Лежу, не ем, не пью, — жрать то все одно нечего было... Скоро маленько полегчало, жив значит буду, а как уйти? Ну, раз вижу, попался часовой попроще, этого, думаю, на арапа можно взять. — „Пусти, говорю, дяденька, до чистого воздуху, помирать, видно, время пришло, дай раздохнуть.“ Молил, просил, — он меня возьми и выпусти, в тамбур. А там попка с винтовкой. Я опять просить, молить: открой, дяденька, умираю, дай раз вздохнуть, открой маленько дверцу. Он дурак и открыл маленько, а я раз — махорки ему в глаза, припасена была, он инда винтовку выронил, руками тычет, что слепой. Тут я его ссыпал с поезда на всем ходу, он рылом прямо в землю — шмяк, мозги высыпали. А я за им вслед, перевернулся два раза, думаю разбился, смерть пришла, а тут бежать надо, поезд остановили. Ушел в лес!.. Нашему брату ничего не делается. Жалко было винта оставлять, тятка все об винте скучал, — комиссаров стрелять, вот бы ему важный презент был...“

„А ты видел его, отца то, с той поры?“ — спросил Стенька.

„Он по лесам ходит, где его видеть“.

„А мой тятка, слышал я, в Сибири на стройку ушел, упал с лесов, разбился, а мать с голоду подохла. Один я остался, сирота!.. Сколько народу погибло, и зачем это народ губят, не дают крестьянствовать, — не возьму в голову никак.“

Из лесу вырвалась и налетела бесшумно на огонь, как некое черное привидение, как монах в распростертой сутане, огромная летучая мышь. Все вздрогнули, Наполеон прижался к Наташке. Та закурила. „Барышня, оставь бычка... страсть курить охота“; — в голос сказали оба беспризорника. Она дала им по папирсе. То, что Наташка курит, было Грише неприятно и Хвостовским, верно, тоже; старший посмотрел на нее долгим взглядом.

„А губит народ, друг ты мой,“ — начал Егорка, „темная сила. Слышь, в лесу ровно кто ходит, бродит, крадется к нам, видел — налетела на огонь мыша — все это, брат, темная сила, она губит народ.“

„Боюсь!“ — протянул плаксиво Наполеон. Наташа обняла его.

«Сказывал мне тятка, что есть такая книга, Бибель называется, и кто ее всю прочитает, тот сразу ума рецится, до того страшная книга. И там все прописано, как миру итти. И вот, сказано там—тятка читал—что позвал раз Господь Са-вооф к себе дьявола и говорит: Конеч твое дело! Закрывай лавочку. Сколько веков народ мутишь, а все никакого толку, не мог отвратить от меня! Не хочу больше смуту терпеть—покорись!—А не покорюсь!—дьявол говорит,—у тебя ангелы, да архангелы, да архистратиги—а я один, потому и оборол ты меня. А дай ты мне помощников, я тебя враз оконую и весь народ замучу!—А быть по твоему,—сказал Господь.—Дал ему, значит, видимо-невидимо, всякой темной силы и говорит: Вот тебе темная сила, мути народ, дам тебе сроку, сколько хочешь.—Пять годов, бес говорит, хватит!—И вот пошел чорт мутить, и везде теперь у него помощники невидимые, как у Господа ангелы—вьются, вьются коло человека, пока не заму-тят, а кого замутят, тот получает знак, звезду пятиугольную, для отличья,—наш, значит... Ну, прошли пять годов, зовут беса к Богу, а замутил бес самую малость. Бог говорит...—Ну, что, сдаешься?... Взмолился тот: дай еще три года!—А даю тебе не три, а трижды три,—сказал ему Господь—коли тогда не заму-тишь,—конец тебе, крышка, пощады не дам! — Вот теперь бьется чорт. А зря! Не замутит... Потому оборон против его есть...»

„Какой оборон?“—спросил Стенька.

«А крест. Кто не хочет бесу покориться, тот крестись утром и вечером: чур, чур меня! И никакая сила не одолеет. Я вот в церковь не хожу, больно грязный, одежонки нет, но каждый день крещусь...»

«В Библии ничего об этом не сказано»,—вмешался вдруг Ивашка, до сих пор не сказавший ни слова и не отрывавший укоризненных глаз от Наташки. Он был всегда молчалив, дома читал жития святых; знал наизусть все церковные службы.

«Как не сказано!»—озлился Егорка, «какой умный нашелся... Все как есть по книге выходит—закрывают храмы Божьи, народ гибнет и звезду на груди носят... Но придет генерал на белом коне и все оборет, конец тогда темной силе. Помяните меня! А живет тот белый генерал за морем и есть он тайный царь!...»

Ивашка подернул плечами.

«А вот ты, Гриха, за морем был» — спросил Стенька: «Есть там белый царь?»

«Нет» — он вспомнил вдруг свою жизнь там: «Нет, я не знаю... может быть...»

«Есть, нет,» — сказал Стенька, — а нам все одно, — крышка, все погибнем. И мне крышка, и Егорке крышка, и тебе, Наташка, крышка, хоть ты и хахаля завела» — определил он вдруг ее положение — «и принцу крышка, не будет никому пощады. Если не разменяют, то с голоду или в тюрьме подохнем. А чем мы виноваты? Бог на темную силу пошел, а ребяташки зачем страдают? Разве он виноват, что matka его принцем родила?» — он показал на Гришу: — «А ты не скучай, что matka твоя в тюрьме — обыкнешь. У меня тоже matka была. Ты иди к нам, ширмачам, — веселая жизнь! Положи на книжки с высокого дерева, куда с ними в твоей жизни. Ты не сомневайся, что ты принц, — мы примем! Разве ты виноват, говорю, что matka тебя принцем родила? Иди, атаманом сделаем... У тебя башка варит...»

«Спать хочу» — плаксиво и сонно протянул Наполеон. Все поднялись разом. Было тихо, деревья стояли сплошной темной стеной. А на полянку лился зеленый блестящий свет, как на экране кинематографа. Рог луны плыл вверх, среди пены облаков, похожий на парус невидимого судна. Стенька принес воды, подгрел угли в кучу и залил их. «Сухмень» — пояснил он: «враз загорится. А засим, — прощевайте». Он и Егорка скрылись в чаще.

И когда Гриша шел домой вместе с Хвостовскими и Наташкой — сначала сквозь таинственный лес, утонувший в зеленом сиянии, затем сквозь поля ржи, казавшейся сейчас зеленой морской водой, и смотрел на дальнее, светящееся, словно дышащее чистым светом небо, на ровное мерцание звезд, на старый дуб перед самой деревней, о котором говорили, что он видел еще Ивана Грозного, — ему стало вновь так ясно, что мир, имеющий это небо и эти звезды, не может быть плохим, — но почему же были тогда голод, вражда, тюрьмы, почему убивали людей, почему Стеньку и Егорку выгнали из деревни и должны были они воровать и спать, как звери, в норах? Почему Наташка ушла в город и курила, почему его мать, которая все умела делать, была в тюрьме, и почему все они такие несчастные?... И ему стало невыразимо жалко и Егорки, и Стеньки, и Наташки, и Наполеона, и себя, и теток, — всех, всей России жалко!.. Перед домом все молча простились. Он уже полез на сеновал, где летом спал, как вдруг кто-то подбежал к нему сзади, и крепко, крепко, биясь всем телом, как птица, поцеловал, обдавая легким запахом вина.

„Наташка!“ — узнал он в ужасе: „от тебя вином пахнет.“

„Принц, Гриха, не забывай!“—быстро и жарко говорила она: „Я сегодня последний раз была... Бедные мы все, бедные“. И она скрылась, прежде чем он успел ее задержать.

Всю неделю Гриша был в умиленно-грустном состоянии любви и жалости к окружающим. Он не дерзил больше тетке, когда она говорила: «Это война, я знаю, я жена генерала», и старался не раздражаться, когда она ругала большевиков наедине, а если заходил к ним почтальон или кто-нибудь из незнакомых, притворялась передовой. Он даже подходил, закусывая губы и прикрывая глаза, под благословение к «монаху Леонтию» и целовал руки «матери Настасье»... Нужно всех в мире любить и жалеть,—говорил он себе, и сердце его словно раскрывалось: всем помогать, быть чистым в думаж и действиях, и ему казалось тогда, что этим он как бы помогал матери и России, охраняя себя от Егоркиной нечистой силы; хоть он и не верил в рассказ, чудилась ему за ним какая-то другая, более глубокая правда. Только воспоминания о матери, о последних словах ее и о Наташке тревожили его, и он приходил в смущение, что он—трус, а надо быть таким, как Егорка. Наташка пропала совсем. У него как то особенно билось сердце при мысли о ней, словно вдруг закипала кровь и разрывалась грудь, а когда вспомнил, как та поцеловала его вечером, то краснел и срывался с места. Он надеялся, что Наташка придет в день его рождения.

В этот день он проснулся очень рано и уже по звукам понял, что было наружи светлое, свежее утро. Чисто и ярко сияли лучи в темноте сарая, пробиваясь сквозь дыры в стене; пыль от сена роилась в них. Он вскочил и быстро растворил двери в радостный и светлый мир, и долго с наслаждением мылся, громко фыкая; потом надел чистую рубашку, что он берег для этого дня. Штаны были рваные—он посмотрел на них вопросительно, но других у него не было. Ему взгрустнулось, что у него сегодня не будет подарков, как раньше, но он быстро примирился. «Поздравляю тебя, мой мальчик, расти большой и умный»—вдруг вспомнил он, как всегда говорила ему мать в этот день, и улыбнулся, зная, что услышит и сегодня эти слова. Ему хотелось поесть, но так как мать учила его, что перед обедней есть не полагается, то сегодня он решил итти натошак, выпил только стакан воды и побежал в церковь. Церковь принадлежала раньше к господской усадьбе и одна уцелела от нее; барский дом и службы сожгли во время революции. Она стояла поодаль в старинном дубовом парке, похожая, по своей колонаде, на маленький пантеон. Прежде ходили в нее владельцы усадьбы и крестьяне соседних деревень, теперь господа были за границей, крестьяне высланы или ушли в города, к службе приходили лишь высланные

из Москвы, вроде теток Гриши, жившие поблизости, да старики, еще оставшиеся в деревнях; иногда осторожно, таясь, приезжали москвичи—помолиться, тайно окрестить детей, обвенчаться,—здесь меньше было опасности встретить знакомого, кто мог бы донести. Служил старенький священник, отец Яков, глухой, весь седой, до того дряхлый, что власти его не трогали. Одно время, пока власти того не запрещали, отец Яков учил Гришу и Хвостовских Закону Божию, и все дарил им конфеты, но и теперь Грища часто бегал к нему..

Насколько он не выносил «монаха», настолько любил отца Якова,—весь его вид, его рясу, епитрахиль, пахнувшие ладаном и свечами, его тонкий голос, слабую руку при благословении, все в нем было тихое и просветленное и напоминало как-то о далеких временах, когда жил Христос и апостолы. В раннем детстве все евангельские фигуры Гриша воплотил по земному: Христа он видел непременно странником, путешествующим в летний день по дороге, с посохом в руке, Антихриста—черным всадником с копьём, апостол Павел представлялся ему всегда простым русским человеком с русой бородой, очень привычным и знакомым. Постепенно однако этот мир отступил, образы поблекли—но отец Яков, казалось, сам принадлежал к ним.

Гриша шел по дороге к парку, представляя себе, как после обедни попьет чаю и поедет к матери на свидание, как она будет радоваться ему, и казалось ему смутно, что ее должны сегодня совсем выпустить, раз было его рождение! Облака пышно клубились на горизонте, как вершины далеких, светящихся лесов; дороги поднимались от них на небо, а на нем чудились Божьи поля, где колосились рожь и пшеница, темнели воды и желтели песчаные отмели, и казалось, что вот выйдут там рыбаки к лодкам и жнецы на поля..

А в церкви он стал, как всегда, у решетчатого окна перед иконой Богородицы, походившей на мать. За окном ветер волновал дубы, трепетали глянцево листья, и в церкви по плитам пола мелькали тени, как черные бесшумные птицы. Он стоял босой, со спутанными, выжженными волосами, похожий на Сергия Радонежского, и простоял всю службу не шевелясь, как застывший, ничего не видя и не слыша, словно реяла его душа где-то над миром; только раз заметил он, как отец Яков ласково смеялся ему глазами из царских врат. А когда молились «о плачущих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, в темнице и заточении сущих», то упал он, невольно, на колени, но не перекрестился почему то, точно боялся нарушить движением руки этот лет души к небу, и в глазах Богородицы воспринял вдруг ободрение, улыбку, и

ему опять показалось, что мать будет сегодня освобождена; очнулся он от вкуса соленой и теплой влаги во рту...

Когда он вернулся из церкви домой—с радостью и ощущением крыла вознесенного над ним—у теток сидели уже «монах Леонтий», его обожалка Настасья и учительница из Москвы.

«Поздравляем, поздравляем!»—начали все—фальшиво, как ему показалось; монах благословил и подал бумажную иконку; Гриша поцеловал его влажную, мягкую руку. Тетки подавали по какой то старой книжке из пыльного шкафа. «Лучше бы уж ничего не дарили»,—подумал он,—а Марья Николаевна, учительница, принесла гребешок. И от вида этого гребешка ему стало почему то особенно грустно. За чаем монах важно и непонятно говорил; его неправильная, безграмотная, но не крестьянская, а фабрично-городская речь была вульгарна и противна. Тетки глядели монаху прямо в рот. Гриша слушал с тоской, едва сдерживая зевоту и злобу: был его день, зачем же притащился Леонтий?...

«Ты почему сегодня не говел?»—спросила его тетка Нита, все время за ним наблюдавшая. Он вздрогнул. Почему он не говел в сущности?...

«Я позабыл, тетя,»—ответил он мрачно.

«Как позабыл? Говеть позабыл! Ты что—коммунист, тарин? Посмотри, куда ты поставил иконку от отца Леонтия—ты соображаешь, куда ты ее поставил?» Иконка стояла прислоненной к бронзовой статуэтке Венеры, оставшейся у них от старого времени: «Как можно ставить святую вещь к языческой статуе? Пойди, поставь, куда следует».

Он встал и молча переставил икону.

«Я видела, как ты стоял в церкви»—продолжала тетка—«ни разу лба не перекрестил—ты что, совсем бесчувственный? Мать в тюрьме, а ему все трын-трава, только собак гонять... Вот, Марья Николаевна говорит, что все время бездельничает, совсем не учись... Когда правил Людовик XIV?»—раздражаясь начала она.

«Тетя, не надо сегодня.»

«Не знаешь!.. Недоросль!.. Дармоед!...»

«А вы всю жизнь были дармоедкой, потому и революция произошла, что такие были, как вы,»—вдруг вспылил он и закрыв лицо руками, выскочил на улицу. Ему было горько не от того, что тетка сказала, а от того, что даже сегодня она не могла сдержаться, когда ему так хорошо было после церкви.

Но когда он пришел на станцию и сел на скамеечку—ждать поезда на Москву, обида на тетку уже прошла; у нее боле-ла, вероятно, печень, и было только грустно за свое сиротство.

Подшел поезд. Садясь на буфер, он вспомнил, что мать всегда крестилась перед дорогой, и тоже перекрестился.

В тюрьме был день свиданий; у решеток уже разговаривали, громко крича, две-три пары. Гриша прислонился к стене, дожидаясь, когда позовут мать, и сколько времени прошло так, он не заметил, пока его не окликнул резкий и сердитый голос:

«Это ты, сукин сын, все стены у меня измарал!»...

Гриша спохватился смущенно: он, действительно, машинально писал на стене, сам того не замечая. «Простите пожалуйста, больше не буду,» — сказал он. Надзиратель был незнакомый. Как ужасно долго сегодня не выходила мать!..

«Как твоя фамилия?» — спросил надзиратель.

Гриша назвал и заметил, что лицо надзирателя смягчилось, он словно впал в раздумье.

«Скончалась твоя мать,» — сказал он. Затем разом: — «сегодня в ночь... вот вещи с камеры, а остальное, что есть, спросишь в конторе...»

Он не помнил, как вышел из тюрьмы; осталось лишь чувство непослушно заплетающихся ног, и очнулся, когда сидел, почему то, у тюремной стены на камне. В руках у него было Евангелие, ее Евангелие, ее ложка и ее кружка. Вид этой кружки и ложки яснее всего сказал ему, что она — мать его — уже умерла, что ее уже нет! «Ма, ма, умерла!...» — произнес он громко и зарыдал, и никак не мог вспомнить ее лица, и все повторял: «Ма, ма, милая ма!...»

Постепенно он стих, но все сидел еще на камне с чувством глубокой бездомности, той последней бездомности, когда нет у человека ни матери, ни отца, нет дома, — ничего своего, смутно сознавая, что здесь таилось все зло и ужас новой жизни, а может быть — и гибель всего мира, идущего к какой то великой бездомности... Он уже хотел идти, сам еще не зная куда, как вдруг показался наряд солдат, они вели партию урок.

«Принц!» — раздалось громко из рядов, и он увидел оскаленные морды Егорки и Стеньки. Солдаты оглянулись, подозрительно осматривая Гришу, замешкались, очевидно принимая его за урку, — в этот момент из рядов кинулись бежать. Раздались выстрелы, злобные крики, ругань; вновь сомкнулся строй, солдаты взяли ружья на перевес.

«Ступай сюда, щенок!» — крикнул старшой Грище. Тот подошел.

«Ты что, ихний будешь? Что молчишь, волчья кость? Становись в ряды:» — вдруг неистово закричал он: «а то пристрелю как собаку!»

Гриша хотел возражать, объяснить, но потом, неожиданно для себя, шагнул и молча стал в ряды. Стенька улыбался ему и говорил ласково:

«Иди, Принц, иди, не бойсь — вместех поедем на Соловки».

Корова

По лесу шла баба с рукой на перевязи. На работе она порубила руку и шла теперь на деревню к фельдшеру. Была она женой кулака и находилась, вот уже второй год, в лесу на лесозаготовках, вместе с девкой-дочерью. А мужа ее и старшего сына сослали куда-то в Туркестан, в такое место, имени которого она не могла-бы и выговорить; считала только, что было оно где-то на краю света, там, где „пустыни зыбучие и пески горячие“, как слыхала в сказках в детстве. Был у нее еще один сын, но когда выселяли их из деревни—мужа в тюрьму, а ее в лес, то увезли мальчика в детский дом, и прошлой весной он умер там, девяти лет, от скарлатины. Она поспела из леса тогда только уж к похоронам.

Вышла она в деревню рано утром; над землей был туман, а небо—все в тучах. Стояли последние дни августа, бабье лето. На севере лето ломается разом об одну ночь: в середине августа еще жара, густо налитые зноем дни с грозами, рожь еще отдает зелению, а через неделю небо вдруг сильно бледнеет, подымается, дни идут все еще погожие, но уже прохладные, воздух пронизан волокнистым серебром; надо спешить убирать урожай—близки осень, заморозки. Все время стояла хорошая погода, и баба, выйдя утром из барака, подумала с испугом: неужто осень пошла, не может того быть!... Ближе к полдню прямо над головой небо стало разводиться. Как крестьянка, она знала, что теперь прояснит. Если разводит с краев, то нельзя дать поруки, а если к полдню над головой, то непременно разыграется, будет вновь погоже. Синий просвет рос на глазах, тучи растаяли почти мгновенно, и мир, весь в росе, как в слезах, заиграл в солнечном свете. Бог ведро дает, подумала женщина с радостью. Время было самое горячее для крестьянина, каждый погожий день дорог. Но потом она вспомнила, что ей, в сущности, ведь все равно—стояло ведро

или непогода, ибо она уже не крестьянствовала больше, урожаю не снимала, и вообще, вся жизнь ее была уже не та, что раньше. И радость ее перешла опять в ту неустанно сосущую боль, что носила она в себе эти два года, от которой спасеньем был лишь сон или немое оцепенение — ходить, потому что ноги еще ходят, делать, что прикажут, и не думать, не думать!... Она приучила себя уже к этому состоянию и в лесу не выходила из него почти никогда, как и все, кто был там вместе с нею.

Край был глухой, дальний, лежал на берегу большой северной реки, покрытом еще вековыми лесами, и до революции текла здесь патриархальная жизнь, с обрядами и обычаями, нерушимыми за столетия; на старину эту съезжались смотреть даже иностранцы. А теперь стал он местом, вероятно, самых жестоких страданий, какие только творились на земле «во имя человеческого счастья», и терпели эти страдания покорно сотни тысяч людей самых разнообразных племен и наречий. Были пригнаны в эти леса русские мужики с чернозему и хохлы с Волыни, и казаки с Дону, черемиса и мордва, и какие-то совершенно дикие азиаты в шкурах, будто из кочевых времен, не понимавшие ни слова по-русски, не видавшие ни реки, ни лесу...

До деревни оставалось около трех верст. Баба шла по большой дороге, как корка спекшейся от долго стоявшей жары. Были уже знакомые с детства места: миновала она «Чортів бор», которым пугали ребят, чтобы они не забегали далеко, за ним «Маслянику», где тучами росли маслята; еще две болотины, бор, а там начнутся поля, станет деревню видно. Она шла не спеша, наслаждаясь тишиной и одиночеством, отдыхая от барачного шума, что окружал ее каждый день, и на душе у нее было легко, несмотря на то, что порубленная рука болела, а сама она боялась наказания за самовольный уход с работы. Она не была, впрочем, даже уверена — не своей ли волей порубила руку, такая тоска взяла ее вчера по деревне, по родным местам, по могиле сына, такая потребность сходить туда и, вместе с тем, глухая надежда — нет ли письма на почте от мужа, и не переменялось ли что-нибудь?.. За самовольную порубку руки — она знала это — грозила тюрьма. Что же, не она одна!... Многие так делали. Пошлют, может, к мужу?.. пришло ей радостно в голову. А как же тогда Анютка? — подумала она тотчас же с испугом о дочери. Да, ведь, я не нарочно, не самовольно порубила!..

На плечах у нее был рваный коричневый домотканый зипун, на ногах — лапти и онучи, перевитые веревкой, а на голове — ситцевая ширинка, вся в копоты. Из — под ширинки выбивались уже седеющие волосы, а лицо было еще молодо,

только посерело все, как после болезни, и глаза совсем выцвели. Несомненно, она была сильна и красива в свою пору—и еще не так давно,—красотой северных русских баб с их крупным белым телом, льняным цветом волос, светлой голубизной глаз, с румянцем на щеках, ярким, как раздавленная малина. А теперь сквозь испитую кожу сильно проступали синие вены, столь туго налитые, что казалось они вот-вот лопнут. Порубленная рука на перевязи была укутана в грязную тряпицу и походила не на руку, а грудного младенца в пеленках.

Скоро начался последний бор перед деревней.—Старый, вековой, его берегли почему-то, не рубили. Сосны давно уже перестали расти, вершины их поседел, стволы неровно раздались в ширину, кора полопалась, надулась жилами, как старческая кожа; с ветвей свисали зеленоватые космы. Ребята из деревни любили этот бор. Водилось в нем, среди белого мха, каждое лето много белых грибов, всегда целыми выводками, как будто отец семейства вышел с ним на прогулку. И сейчас она вспомнила заветные места, отклонилась от дороги и, действительно, там стояли белые грибы,—целые выводки! Она ломала и клала их в корзинку, каждый раз радуясь удаче, и чувство сосущей тоски понемногу утихало, как утихает на время зубная боль. Итти было мягко, ноги отдыхали во мху, а бор стоял, весь пронизанный светом, духом смолы, подогрешей хвой, теплой земли, совсем как в детстве. Деревья глухо вздыхали, будто во сне, а по верху катился тихий, успокаивающий гул, какой слышишь, когда припадешь к земле ухом. Иногда выплывали между деревьев зеленые полянки, сплошь залитые светом, и становилось особенно грустно при виде их, и невероятно, что лето уходит, так противоречил этой мысли их радостный свет. Баба шла под тихим гулом, под серыми лапами сосен, то по мху, то по рыже-розовой хвое, накалившейся до того, что тепло достигало ноги даже сквозь лапоть. Ей стало жарко, она скинула ширинку с потного лба, обнажив простое и смиренное крестьянское лицо, и с виду казалось,—вот идет русская баба домой, утомленная работой. Ей и самой так иногда казалось. Она думала, что бор скоро кончится, пойдет березовая рощица, а перед тем овраг, в овраге—талец с ключевой, студеной «святой» водой, где можно напиться.

Лес обрывался на крутом берегу оврага; из песчаных боков торчали старые корни, как лапы чудовищ; две сосны уныло застыли над бездной с обеих сторон, сплелись друг с другом, будто в предсмертном объятии, перед тем, как рухнуть. Она спустилась осторожно в низ оврага, осыпая песок. Здесь было сыро, студено, тенисто; небо отсюда казалось темней, ни-

же, стояло, как крыша. Тропинка вела к тальпу под старой одинокой березой. Уже издали было слышно, как бурлила вода, а сам талец был на удивление маленький, как будто здесь только глубоко завязала ногой лошадь. Под березой лежал ковшичек из бересты. Баба припала на колени, зачерпнула до полна ковшик и отпила несколько глотков, обжигаясь холодной и чистой водой. Родник этот считался святым, и она не чувствовала в воде ни вкуса болота, ни вкуса трав, а казалось ей, что пила она некую животворящую влагу, исходящую из заколдованных недр земли, где великий холод и великая тайна; самое бурление воды в темном колодце наполняло ее некоторой жутью, будто ворчал глухо кто-то таинственный под землею. И по мере того, как она пила, словно свершая таинство, рождалось в ней знакомое чувство успокоенности и надежды. Выпив до дна, она утерла рукавом губы и положила ковшик обратно на старое место: он был еще совсем цел, а будь он ветхим и распадись после питья, надо было тут же сделать новый из бересты — так полагалось испокон веков.

Березовая рощица была уже вся золотая. Кое-где среди золота выбивались зеленые, нежно-перистые листья и спелокрасные гроздья рябины; издали казалось, что стаи птиц кружатся, широко раскинув крылья, над яркими цветами. И была такая поразительная, старо-знакомая и грустная красота в сочетании этих точеных листьев рябины, ярко-красных ягод, трепетного золота и бирюзы неба,—во всем этом осеннем умирании,—что сердце ее горестно рванулось от желания умереть вместе. А за рощей лежали поля, колосилась еще неснятая рожь, мотаясь во все стороны, тускло щетинилось жнивие, по которому недавно проехала телега, оставив двойную серебристую колею; розовела глина невозделанных полос. Вдали на горбу паслись пестрые коровы, люди работали на полях, еще дальше сверкал в нежарком солнце крест церкви над домами, и лилась, неисповедимо куда, светящаяся Божья даль!.. Это был ее старый мир, где она родилась и росла, где прошли все счастливые годы. Господи, до чего хорошо!—вдохнула она. Тропка, утоптанная, как камень, вилась меж полос к деревне. Баба пошла по ней. Сбоку по дороге лошадь везла воз со снопами, наверху сидел парнишка, а рядом шел мужик,—все было, как раньше. Радость охватила все ее существо, та радость и волнующая тяга к крестьянскому труду, что знавала она прежде об эту пору, когда кончался урожай, доаживали последние снопы на деревне, пекли пироги, кормили, поили в последний раз наемных жнецов; девки и парни пели и плясали до самого утра. Она шла, полная счастья, как-будто текли, на самом деле, те старые дни, и иногда, словно про-

буждаясь, спрашивала себя недоуменно—да точно ли все это в прошлом?—И не верила, не хотела верить,—столь сильна была власть земли над нею и эта тяга к мерному течению времени, когда покос переходит в жатву, жатва в молотобу; все так размеренно, ясно и просто. Но, оглядываясь, она замечала с испугом, как много запущено полос, оставшихся в прошлом году без засева, и спрашивала себя с тоскою: Боже ты мой, неужели все прошло? Да что же это такое?

Бабы в красных платках копали картофель. Они были незнакомы ей, слыхала—пригнали в колхоз работниц с фабрик из города.

„Бог в помощь!“ — Она поклонилась по старой привычке. Бабы подняли головы и захохотали, не ответив. Она уже привыкла к тому, что на нее или злобно кричали, или, в лучшем случае, не отвечали, и прошла смиренно мимо. На минуту подумала только с горьким недоумением, зачем нужно было присылать сюда на их место этих фабричных девок, не умевших толком даже копать картофеля, не то что жать или косить, и не в том-ли все дело и вся беда, что кто то теперь неумело расставлял работников. Но так как она была непривычна думать, то не могла довести свою мысль до конца. Всю свою жизнь, в сущности, она привыкла подчиняться чужим воле и разуму—сначала родителям, потом мужу, а после и детям, а главное, какому-то нерушимому распорядку, благодаря которому прежде всегда было ясно, что и когда нужно было делать, будь то зима или лето. Давал этот распорядок некто по имени Бог—так учил поп в школе,—и представляла она Бога, хотя и всесильным и всемогущим, но отнюдь не непостижимым существом, а скорее мудрым Хозяином всей жизни, а землю—Его хозяйством, которое он искусно вел и всегда видел, когда чего-нибудь не доставало. И если что-нибудь в хозяйстве шло неисправно, то надо было просто обратиться к Хозяину и просить, смотря по тому, что надо—дождя или ведра, или помощи в болезни, или детей. Было у нее, правда, с детства смутное представление и о другом Боге, Боге Отце, страшном и грозном, но он стоял где-то за Сыном и за Его Матерью, за святыми угодниками, и обращаться к нему, в сущности, не надо было: люди не имели до него никакого касательства вплоть до самой смерти.—А теперь все шло криво, не так, как надо, точно Хозяин не видел больше недостатков в хозяйстве: пригнали фабричных девок на поля, а их самих угнали в лес или пустыню, и вот—избы заколочены, скот падет, поля лежат под паром.—Сколько запущено земли,—она оглянувшись с тоской кругом,—лежит зря, ничего не родит, как бесплодная баба.—И опять ей казалось, что Хозяин должен-бы увидеть, в конце-концов, непорядки и направить все по-старому...

Мышь перебежала через дорожку с одной стороны на другую, баба очнулась и услышала, что ее кто-то кличет:

„Куда срядилась, Степановна?“

То была прежняя соседка из деревни, Акулина. Муж Акулины раньше все ходил по фабрикам сезонным рабочим; семью ее теперь не разорили, а приняли в колхоз. Акулина тоже копала картофель.

„Бог в помощь!“—опять поклонилась баба.

„Спасибо на добром слове,“ — и Акулина поклонилась: „Куда срядилась? Что с рукой,—аль досадила?“

„Дрова секла, засекала руку. К фельдшеру хочу.“— Она хотела спросить, не слыхала ли Акулина чего нового, нет ли вестей от мужа, письма на почте, но не решилась из боязни узнать, что нового ничего нет. Ей хотелось попрежнему твердо верить в перемену.

„Почернела ты вся,“—сказала вдруг Акулина: „Все печалуешь верно? А не стоит, не стоит! Нигде нету жизни, все решили, везде горя“.

И Акулина, как всякая крестьянка, стала жаловаться на свои невзгоды, которые ей только и были близки к сердцу, совсем забыв про встречу с соседкой, про чужое горе... Баба и сама не ожидала от Акулины сочувствия, даже слышала в словах ее фальшь и злорадство или упрек за прежнее довольство, хотя: многодетную Акулину эту, чей муж беспросветно пил, она не раз выводила из нужды,—и все-таки хотелось ей хоть кому-нибудь облегчить душу, рассказать про горькую участь, от кого-нибудь получить жалостливое слово.

„Иссохла вся,“—сказала она: „Руки и ноги,— что батожки. Все плачу. За что терпим? Всю жизнь работала —не покладая рук, не досыпала, не доедала...“

„Э, девка, что вспоминать. Говорю,—нигде жизни нету... А терпи—две жизни жить не будем, а одну как-нибудь проскитаемся.“ Акулине было совершенно все равно и отвечала она, думая больше о себе. „Обыкнешь как-нибудь... Дело твое не первая молодость...“

„Да я што, одна дорога в могилу. Девка на глазах гибнет“.

„А кого Бог любит, того наказует“—продолжала Акулина, не слушая — „На сердце темно, а на душе добро... как по раньше говорил... Ну, поди, сходи к фельдшеру... Не скучай, говорю, нигде жизни нету“,—прибавила она, на этот раз, пожалуй, искренне, ибо девками вместе они играли, плясали, водили хоровод, и ей вспомнилось это все как-то вдруг, разом...

Акулина вытащила лопату и вывалила картофель. Вид этого действия был столь привычен, движение столь знакомо, что у бабы защемило на душе от тоски по крестьянской ра-

боге; она так и чувствовала лопату в руках, и вновь родилась в ней какая-то смутная надежда.

„Бог в помощь!“ Она поклонилась и пошла.

„Живи хорошо,“—ответила Акулина.—Заходи в избу вечером,—хотела она добавить, но не посмела, ибо за уют кулачки самой можно было угодить в ссылку. А соседка хотела было попроситься переночевать, но тоже не решилась, зная что никто ей теперь не рад.

Ко кладбищу нужно было свернуть вправо; оно лежало одиноко в рощице в полверсте от деревни. Между ним и деревней тянулись длинные, пустые поля, разделенные межами, обросшие седой, короткой травой, как щетинной, и пыльною полынью и вереском. Здесь никто никогда не сажал, не сеял; кто и зачем разделил эти поля межами, в деревне не знали. Возделывать эту землю не полагалось, ибо лежала она вблизи кладбища и не годилась на потребу живому человеку. Боже упаси, хлеб на ней растиль иль даже ягоды собирать! Из деревни шла по полям дорога, по середине разветвлялась, один рукав вел к людскому кладбищу, а другой на майдан в бору, куда свозили падший скот.

Баба повернула на кладбище, не заходя в деревню, и вышла прямо на росстань посередине поля. Был уже полдень, но солнце пекло нежарко. День выдался уже осенний, успокоенно-прощальный, весь просветленный: лучилось небо цвета белой парчи, лучился стеклистый воздух, остро пахнувший остывающей землей, полынью, лучилась река вдаль на лугу, и благовеиная тишина стояла кругом, как-будто уходила чья-то душа к небу. «Божья благодать!»—подумала баба с легкой грустью. Вдоль ограды лежала золотая кайма березовых листьев, сама ограда во многих местах завалилась, овцы ходили по кладбищу — раньше этого не допустили бы. У кладбищенских ворот стояла одинокая старая сосна с черной вершиной. Необыкновенно сильно это дерево напомнило ей о прежней жизни, ибо было оно как-то неразделимо связано с деревней — еще прадеды его запомнили, и когда возили на кладбище гроб, или служили молебен на поле, или просто возвращались из лесу в деревню, то первое, что бросалось в глаза, была старая сосна. Чем-то вечным и мудрым веяло от нее, как-будто хотела она сказать, глядя на людей и скорбно качая своей вершиной: «Все вы пройдете мимо меня». На кладбище всюду лежал овечий помет, и баба возмущалась, — так строго блюли чистоту раньше на этом месте. Но все-таки царили тут та-же прежняя тишина, великий покой, жалась друг к другу кресты, точно люди, распростершие руки в безмолвной молитве, мирно росли молодые березы и сосны, а между ними, поблескивая, тянулась паутина цвета воронова крыла

и облепляла бабе лицо, когда она проходила между деревьями.

Вот сбоку лежала могила отца Ивана под деревянным позеленевшим крестом — жил он в попах на селе больше 40 лет. Она вспомнила живо его фигуру в ветхой серой рясе, в соломенной шляпе, с удочкой в руках — последние годы старик любил ловить рыбу. Чуть дальше был похоронен Василий Кожевников; и его она знала и помнила. Был он крикун и пьяница и до страсти любил менять лошадей с цыганами, сам весь черный, как цыган. Раз он нашумел на нее пьяный, и она осердилась тогда на него и пожаловалась мужу. — Вот и успокоился, Василий, — сказала она с любовью и жалостью к покойному и, вместе с тем, с болью, что все это уже прошло, — сделал последнюю мену... Всем один конец — все та же могила. — И было что-то успокаивающее в этом сознании, какая-то спасительная надежда. Она смутно чувствовала, что жизнь — что-бы ни происходило на земле — для всех всегда неизменна, для всех одна и та же, и не для чего революции, не для чего злорадия, в пустую борьба и страдание людей — все дело лишь в том, чтоб прожить эту жизнь хорошо, чтоб было умиление и жалость, как сейчас у нее, чтоб не сгибло какое-то зерно в душе у людей, которое теперь у всех заростало, — иначе не будет счастья на земле, хоть все разом стали бы и богаты, и сыты, и неустанно бы работали машины на потребу и усладу людскую... — Кого Бог любит, — того наказует — вспомнила она — кто знает, может, это и было так. — И на душе у нее стало просто и ясно, хоть и грустно; была уверенность, что есть где-то ответ, что есть где-то Хозяин, который все видит и все слышит, и услышит, если не сегодня, — то завтра, ибо Он на всех один и все ему подответны.

Без призору на кладбище многие могилы провалились, кресты пали; из ям торчали черные сгнившие доски, обросшие мхом; синеющие кости валялись на земле. Кое-где, вместо крестов, стояли чурбаны с изображением красной звезды, и при виде их она чувствовала не то страх, не то жалость за тех, кто там лежал. Она шла и поправляла по пути покосившиеся кресты, складывала вместе и посыпала песком кости, и так подошла к могиле сына. Маленький крест стоял прямо, могильный дерн сильно пророс травой. А надпись на кресте, что она тогда сама с трудом сделала, наслонявив карандаш, выпвела почти вся, остались только фамилия да годы...

«Ершов... 9 годовъ...» прочла она свои неумелые буквы с легким испугом. Ершов — имя уходило куда-то вглубь, в землю — знают ли там, что он звался Ершов и надо ли это было кому-то? «Папа», — сказала она тихо, и слеза покатилась у нее по щеке: — «спи, сынок». Только так, только спящим она мог-

ла его представить себе; зеленые гнилые доски, источенные кости никак не касались ее сына, он шел другим путем. «Младенец будет в раю,» — утешал ее в лесу ссыльный священник: — «не плачь, не гневи Бога,» и она видела его идущим по облакам с белыми кудрями на голове, в пестрой рубашонке, подпоясанной узким пояском, босиком, — как бегал он последнее лето. Она хотела перекреститься, потянула правой рукой, и острая боль рванула ей к плечу. Баба застонала. И так как молитва у нее была навсегда связана с крестным знамением и иначе молиться она не умела, то она утерла только слезы со щеки заскорузлой ладонью левой руки, обошла кругом могилы и села у изголовья. Из кармана армяка она достала сверток, развернула грязную тряпицу, в ней лежал ломоть черного хлеба, немного зеленого лука и соли. Бездумно, точно во сне, она отломил кусок, посолила, покрошила лук и стала есть, медленно и тяжело жуя воспаленным сухим ртом. Она ела, и слезы текли у нее по лицу, но не тяжелые, не безнадежные, а слезы воспоминанья, слезы о счастье в прошлом. Видела она раннее утро: солнце бьет в избу, и на полу на перине спят дети, все трое вместе под одним одеялом, — три льняных головки рядом на подушке, и плакала от умиления и смутного ожидания, что она еще увидит их так. От дороги она сильно устала и, как только села, почувствовала тяжесть, потребность к чему-нибудь прислониться, приклонить голову. Березка рядом ворошила уже сухой листвой, как будто ее кто-то легонько тряс за ствол; иногда падали отдельные желтые листья, кружась и трепыхаясь в воздухе, как подраненные птицы. И вокруг могил и вокруг берез тоже лежала золотая кайма, успокоительно действовали эти умирающие краски, неяркие лучи, роящиеся в молодых соснах, скольжение света по стволам, тишина и падающие листья... Ее клонило ко сну. Солнце пригрело мягко спину, сладко гудели ноги, ныла рука, и голова, тяжелея, запрокидывалась ко кресту, баба вздрагивала, просыпалась, гнала сон и вновь засыпала и падала головой. — Завтра Успешне Божьей Матери, — бредила она во сне. Ахти, надо скорей итти, скоро коровы с поля вернутся, доить надо, скоро поп к вечерне зазвонит... И она порывалась встать сквозь сон и не могла. И видела дальше, что полевые работы кончились, мужики сварили пива, купили водки, на улице стоят столы, а на них груды пирогов, яиц печеных, луку, большущие чашки щей с наваром, братыни с бражкой, и сидят вокруг столов мужики и «казаки», как звали у них наемных жнецов, и бабы со всей деревни их угощают. Был за столом и ее муж Егор, весь красный, с растегнутым воротом. — Надо-бы он не напился, — подумала она озабоченно. А на угоре хоровод, поют и пляшут девки и парни, играет гармонь! Потом откуда-то появи-

лись вдруг отец и мать, а муж стал совсем молодым, каким был женихом, и она сама, в подвенечном шелковом платье, стоит и кланяется: «Получайте, родной батюшка, кушайте, родимая матушка». — Как же это так, невестой-то? — удивилась она. Но подруги поют, как полагается, песни о „чужой далекой сторонущке“, и величают ее и Егора, «князь и княгиня», она плачет, а их везут из церкви от венца, по деревне дико скачут верховые — «поезжане», храпят, закидывая головы на сторону, кони; у ворот стоит народ, смотрит на подвенечный поезд...

Она всхлипнула радостными слезами и проснулась. — Где-то гремела телега. Сначала баба ничего не поняла, а потом вспомнила все разом и оглянулась недоверчиво: не был ли сон действительностью, а то, что перед нею — сном? На душе у нее стало совсем легко, была она теперь уже уверена, что ее ждет радость — может быть, муж вернулся домой, избу возвратили, и все они заживут снова вместе. Она собрала крошки с подолу, положила в рот и, встав с трудом, подошла к могиле и поклонилась три раза в землю. «Прощай, Пашенька», — сказала она медленно и пошла прочь, все еще оглядываясь назад, с чувством не то горечи, не то стыда, что она все еще живет и надеется на что-то, тогда как его уж нет, и в то-же время, как-то извиняя себя, — точно должна была она его еще увидеть по земному, по телесному.

И опять она вышла из ограды на мертвые полосы под желтым солнечным блеском. Ближе к росстани она заметила, что два мужика гнали двух коров ей навстречу. — Куда это? — постаралась она сообразить своим крестьянским умом — куда к ночи коров, не на поскотину же? — Мужиков она почти тотчас же признала: один был коммунист из сельсовета, звали его раньше «Афоня беспштаный», за то, что до 15 лет ходил без штанов — как дурачок, а другой — бывший мясник, хозяйство которого тоже было разорено, но самого его не угнали в ссылку, а приняли служить в колхоз к скоту. — Куда это они собрались? — недоумевала она и невольно ускорила шаги. Коровы брели тяжело, особенно одна, пестрая, с раздутым брюхом, едва переставляла ноги. Афоня бил ее хвостом, корова шаталась, но не ускоряла шагу. — Да ведь корова то стельная, подумала она, как же он ее стельную стегает? — Мужики выгнали коров на дорогу к скотскому кладбищу. Что-то необыкновенно знакомое поразило ее в пестрой корове. Она напрягла силы, почти побежала, чувствуя неладное. Корова была ее, их корова — Пеструха! Ее отняли у них два года назад вместе с другой, та с тех пор уж пала. Эта была ее любимая корова, сразу баба не узнала ее, столь сильно изменилась скотина — брюхо раздулось, кожу покрыли парша, спекшиеся гнойные раны.

„Пеструха!“—Баба кинулась к корове. Та подняла голову, повела мутными глазами и вдруг подалась всем туловищем, жалобно замычала, видно узнав хозяйку.

«Куда погнали корову?»—приступила баба к Афоне,— «Куда, я тебя спрашиваю?»

«Куда, куда?» передразнил Афоня.—«Не видишь сама, опаршивела вся... всех коров заразила. Ну, ты»—он толкнул бабу кнутом в грудь: «Чего завывла? Кулачья шерсть! Небось с работы ушла...»

От толчка она упала на землю и, не в силах встать, лежала на земле, сотрясаясь от слез. Корова, отходя, мычала призывно, и так знакомо было это мычанье, так напоминало те невозвратные дни, когда, бывало, она у ворот своей избы поджидала вечером скот, возвращавшийся с поскотины.

«Да ведь корова-то холмогорка, лучшей породы,»—она всхлинула,—«в день больше ведра молока давала, и такую яорову на убой, на падаль!»

И только теперь она поняла вдруг неотвратимо—после того, как увидела эту свою корову—то, чего не поняла раньше, когда отбирали дом, ввели мужа, когда умер сын—пояла в первый раз совершенно ясно и бесповоротно, что все, все кончено, ничто не возвратится, не будет, как раньше, что ей нечего больше ждать и не на что больше надеяться, и что все надежды—один лишь самообман. Старая жизнь ушла, и если был раньше где-то Бог, то должно быть Он отступился от людей, от всей земли, ибо новые люди не звали, не искали Бога, и было ими что-то потеряно—какое-то самое главное зерно, главная искра, а без этой искры не могло быть никакой жизни, только усоба, страдание и тьма. Потери этого зерна люди не замечали. А, может быть, и совсем не было того Бога, в Которого она верила, крестьянского Бога-Иисуса Христа и Его Матери, а один лишь гневный и страшный Бог Отец, ничего не прощающий, жестоко карающий за грехи?

«Конец»—сказала она—«конец».

Так лежала она долго, лицом к земле, без движения. В небе высоко тянули журавли к югу, протяжно кричали. Ветер доносил сбоку гнилостный запах. Он шел от скирда соломы, который стоял у самой деревни.



Белые ночи

Днем были у нас гости: вдова профессора, знакомая еще по Москве, и казачий офицер из-под Ростова, оба ссыльные, как и она сама, а под вечер она вышла из города и полями прошла незаметно к реке и села с книгой на берегу. Была весна, конец мая, и стояли белые ночи, столь чистые, прозрачные и покойные, что казались неземными. Первый год ссылки на север, бесстрастный и мертвенный свет белых ночей действовал на нее мучительно, и целые недели напролет она не могла заснуть, отчасти, может быть, и потому, что эти ночи напоминали ей о Петербурге, где она с матерью до революции провела одну зиму, выезжая в свет: весной в Петербурге тоже были белые ночи, тогда она пережила их в первый раз. Но уже на второй год ссылки сюда, в этот маленький старинный городок, она привыкла к белым ночам, полюбила их и часто оставалась сидеть на берегу реки, иногда до самого утра, одна, с раскрытой книгой на коленях, как и теперь, вся охваченная их чистотой и очарованием и какой-то смутной тоской, которую они будили, вместе с воспоминаниями о бывшем. Солнце стояло еще высоко, несмотря на 10 часов, дрожащая фиолетовая сфера отделяла его от земли. Рассекая ее, прямые и широкие лучи ложились сверху на город, на массивные белые громады бывшего монастыря и собора, на мирно блестящие купола, словно осеняя их, как благословляющая десница солнца, занесенная над стогнами мирного города, уставшего от дня. Солнце склонялось постепенно над рекой к противоположному берегу,—движения его были почти уловимы. Огромное ложе реки под лучами было тихо, блестяще, как металл, текло мирно, одной сплошной и упругой, чуть выгнутой массой, не разбиваясь на потоки, столь густой, что, казалось, можно встать на это гибкое лоснящееся ложе и спокойно пойти по нему.

Иногда внизу, на песок, выкатывали невидимые волны, словно вытолкнутые изнутри реки, и с шипением скатывались обратно. На другом берегу, в страшной дали, смутно синел лес на горе, над ним необычайно ярко пылало небо, как будто состояло из светлого пламени. Чуть дальше, налево, была видна деревня: черные горбы крыш, розовая игра солнца в стеклах домов и над всем этим стройный шатер одинокой церкви с тонким крестом на куполе. Нигде не было видно людей. Стояла тишина, какой то великий покой. Только издалека, из-за поворота реки, доходило изредка гулкое биение колес парохода о воду, и из деревни, с того берега, глухо и нежно доносились женские голоса, певшие старую русскую песню. Это была прежняя Россия, живое видение из XVII века, и она невольно ждала, что вот раздастся тяжелый удар в колокола, плавный и густой звук поплывет, качаясь, над рекой, и черные фигуры монахинь потянутся медленной чередой из лесных скитов на молитву в церковь... Но тотчас же она вспомнила о действительности новых людей, упорно строивших какую то скучную, неестественную, книжную жизнь, в таком противоречии с этой мирной красотой природы, и сердце ее вновь заходилось в тоске.

Сегодня был день ее рождения и ей исполнилось 30 лет.... Она осознала значение этого только теперь и ужаснулась. Вспомнилось вдруг, как давно, лет 15 тому назад, в один летний день возвратился на каникулы брат студент из Москвы и вместе с ним, в одном тарантасе, приехала дальняя родственница— „тант Мари“, как ее у них звали, хотя та совсем не приводилась им теткой,—стройная дама с туго перетянутой талией, с пышной, черезчур очерченной грудью и сильным грудным голосом, который как то особенно вызывающе и грешно вибрировал, когда она смеялась. У них жила тогда сирота кузина. Брат был влюблен в нее и писал ей из Москвы длинные, нежные, философские письма, и та целовала их, нумеровала, перевязав лентой, носила на груди. Вместе с кузиной, она сама трепетно ждала тогда возвращения брата, шепталась с ней по углам и в саду, и все было прекрасно и полно радостного волнения и тайны. Но брат только молча, бегло и смущенно, поздоровался с ними и быстро прошел к себе в комнату, а потом весь день был туго зятанут в мундир, несмотря на жару, и не отходил от тетки, как и все другие мужчины, гостившие у них в то лето, и когда та пела, сидя за роялем, брат не сводил глаз с ее вздымающихся, полных, обнаженных плеч. Кузина ходила с подпухшими от слез глазами, при встречах с ней

брат неловко смущался, морщил сердито лицо и поспешно отворачивался. Тетка звонко и вызывающе смеялась, так что голос ее разносился по всей усадьбе, запах ее духов пропитал всю мебель, и хотелось плевать, а то что тетка, в их глуши, трижды в день меняла свои шумные, шелковые, глубоко открытые платья, было, как говорила мать: „ridicule”

Утром в костюме амазонки она уезжала с братом в лес верхом. Подсаживая „тетку“ на лошадь, брат тесно обнимал ее за талию, задерживаясь в этом положении неестественно долго, и тетка легко ударяла его каждый раз, смеясь, хлыстом.

„Какая бесстыдница!“—жаловалась мать отцу.—„Замужняя женщина, и ведь ей уже за 30 лет!“

И ей представлялось тогда непонятным и ужасным, как брат мог предпочесть кухне женщину, которой было уже за 30 лет!... „Это же старость“,—размышляла она с недоумением и ей казалось при том, что сама она никогда не может быть тридцати лет—ведь это уже конец!... И вот ей тоже наступило 30 лет!... Но она совсем не чувствовала себя старой, а столь же молодой, как и тогда, если не моложе, ибо была теперь страшная потребность жить и ощущение красоты мира до того сильное и полное, что было в то же время даже страшно жить из-за боязни—не познав—потерять эту красоту.

Да, но жизнь ее была уже кончена,—старалась она убедить себя, тем не менее,—больше нечего было ждать и нечего желать!..

Ей исполнилось едва 16 лет, когда разразилась революция, но прежняя жизнь успела запечатлеться в ее памяти неизгладимо; прошлое влекло ее, казалось беспорочным, совершенным. И чем дальше оно уходило назад, тем прекрасней становилось, как и вся былая история России. В сущности, в ней она видела, прежде всего, историю своего старинного рода, покрывшего себя, в течение многих веков, военной и гражданской славой, и так как в жизни их рода, о котором она слышала из семейных рассказов, все казалось ей прекрасным, такой же была для нее и история России. Без прошлого невозможно счастье оно, всегда в прошлом и только прошлое прекрасно. „Il n'y que le passé qui est parfait et plus que parfait.“

говорил шутя Mr. de Combe ее старый учитель. Со сладостной тягой она ежедневно перебирала все, что сохранила ей память от прошлой жизни, как коллекционер свои сокровища, с тоской упрека себя, что была когда то невнимательна, почти равнодушна к рассказам матери, отца, бабушки и радовалась теперь без конца каждой новой мелочи, которая, вдруг, неожиданно выходила из сумрачного мира воспоминаний.

Сегодня перед ней почему то упорно вставала картина одного вечернего чая на балконе их поместья в Тульской губернии. Сидела гостья, старая княгиня Токмакова из соседнего имения, в старомодном платье с пуфами, в чепце. Зиму и лето она ездила в допотопной огромной, скрипучей карете. „Пугало в колыхаге“,—называл ее брат. Отец с братом ушли на охоту на бекасов, дома остались только женщины, и бабушка с гостьей, наперерыв вспоминали, вдыхая, о минувших днях,—и им тоже прошлое казалось прекрасным, и они стремились назад!... За балконом теснился густой темный сад, стояли тишина, тепло, кротость лета, сладко благоухали липы, а на балконе матово горели жерсиновые лампы под абажуром, рождая зеленый полумрак. Отец был консервативен в своих вкусах и не признавал ни электричества, ни телефонов, находя, что это нарушало привычный уют усадьбы. Бабушка рассказывала, как ее семья ездила, во дни ее молодости, в Италию, вместе с Токмаковыми, в дормезах, ибо тогда еще не было железных дорог. Шли четыре господских кареты, две для самих господ, две другие для детей, а сзади следовали бесчисленные подводки для двора и припасов. В детских каретах ехали также гувернеры и учителя, висели исторические и географические карты, и за время всей дороги уроки продолжались как дома. Старшие играли в своих каретах в бостон и безик.

„Нам шел тогда, матушка, небось, уж 15-й год,“ вспоминала бабушка. „Твой братя то и дело перебегаля к нам, в девичью карету с цветами для меня. Помнишь? Славно было, не то, что теперь, на чугунке,—дым, грохот, народ, тыфу!... Два месяца ехали, небось, до Италии.“

И, сидя теперь на берегу реки, она старалась представить себе то время с непреоборимой, смутной надеждой на его возвращение: длинный поезд карет, господа с длинными чубуками в зубах, кружевные накидки дам, лакей на запятках... „Почему она не родилась сто лет тому назад?“—с тоской спрашивала она себя,—„а в это время бунтующих толп, шума, баракаров и отвратительных многоэтажных ящиков, вместо былых семейных гнезд?“...

А на завтра, после того вечера в усадьбе, всей семьей они ездили на лошадях к соседям на свадьбу. Венчал деревенский батюшка в маленькой сельской церкви. Невеста была тонка, бледна, во флер д'оранже, похожа на хрупкий цветок, а жених—высокий, загорелый гусарский офицер. Оба стояли под венцом в середине церкви, в лучах солнца, под сотнями взглядов, и у невесты все время вспыхивало нежными розовыми пятнами лицо. И когда священник, обменяв кольца, повел пару вокруг аналоя и, по закону церкви, оба стали уже мужем и женой, то—она заметила это—гусар тайно, на ходу пожал руку

своей жены, а та робко и ласково вскинула на него глаза в слезах. Потом, вздымая пыль, поезд возвращался полями к усадьбе; на межах стояли бабы и мужики с блестящими на солнце серпами в руках, весело кричали молодым, бросали в тарантас цветы; било ослепительно солнце, но ветер сбавлял зной, рожь и пшеница жарко волновались, высоко стояло небо удивительной чистоты. В усадьбе, обедневшей и ветхой уже, был бал в маленьком колонном зале, играли на древних клавинодах, и старики хозяева танцевали старинные танцы; за ужином молодым беспрестанно кричали „горько“, пока те не целовались, и тогда, сразу же, под общим смех, кричали „сладко“. А когда молодые поднялись и ушли к себе, она, девочка, замирая от стыда и трепета, вдруг представила себе, как этот загорелый гусар сейчас возьмет свою тонкую жену за талию и крепко прижмет к себе, и была во всем этом некая прекрасная тайна, ждавшая и ее.

Часы на городской банне пробили двенадцать, но идти домой не хотелось. Иная—бурная, осенняя ночь, возникла перед ней, их усадебный дом, пылающий в темноте, зловецкий и сырой блеск деревьев в парке, страшный свист ветра, грохочущего по крыше, плети дождя, стегающие в лицо, и во всей этой Вальпургиевой ночи—дико метущиеся фигуры с озлобленными, нечеловеческими лицами, с кольями и топорами в руках. Бабы, те ласковые говоруньи бабы, которых мать ходила лечить на деревню в их избу, —эти бабы, как ведьмы, в растрепанными волосами, в мокрых сарафанах, врываются в пылающий дом и тащат оттуда перины, подушки, платья, посуду, зеркала, даже портьеры с окон, а мужики, с пьяными, налитыми кровью глазами, рубят топором стены, столы, стулья, буфеты и рояль, ломают окна и зеркала; старый же Матвей, что так истоиво читал в церкви Апостола и всегда так ласково отвечал на поклон, этот патриархальный Матвей с тесемкой вокруг волос, дико ругается, стоя посреди залы, и визгливо кричит: „Бей, мужики, ломай все в мою голову!“

„Вот она, революция,“—говорит отец. „Вот она свобода для дикого народа,—жечь, грабить и насиловать.“ — И их уносит тройка,—мать, отца и ее, а на облучке сидит брат, ибо кучер Иван, любимец отца, соскочил на полдороге, и, выругавшись, убежал к дому. „Грабить,“—говорит отец,—„натура взяла свое, а я его, как родного, любил... Иван то, думал, уже не выдаст...“

А после—Москва, уличные бои, жестокое время с обысками, и арестами, и расстрелами, холод и голод, смерть матери и отца, бегство брата на юг в белую армию — где был он теперь, милый Сапа?—смутные слухи и надежды о белом походе на Москву, кончившиеся, увы, столь трагично, а затем—

агония России, скитания по опустошенным церквям, монастырям, подмосковным усадьбам, полным какой-то душу раздражающей красоты умирания, уроки языков — и так много лет, прожитых в тоске и ожидании, как один осенний день. А конец обычный: арест, ссылка сюда... И теперь этот Север, столь пугавший издалека, и оказавшийся прекрасным, сказкой на яву, где сохранилась еще старая Россия, и здесь, впрочем, уходящая на веки...

Каждый раз, когда она думала обо всем этом, ее душили слезы, — не за себя, ибо она уже примирилась со своей судьбой и не хотела бы теперь иной и, даже, полюбила этот север и свою ссылку, — душили слезы за уходящий мир Божий, столь дивный и столь оскверненный людьми, за все бывшее, — ибо было оно явно лучше и лучше, чем новое, и все-таки должно было уйти, уступить перед ложью и пошлостью. Революция была для нее, прежде всего, синонимом пошлости. Запоем она читала книги о французской революции, о версальском дворе, о последних днях Людовика XVI и Марии Антуанеты, и все более и более поражалась сходству русской и французской революций в грубости, в невежестве, в нечестности лиц, их творивших. С замиранием сердца и каким-то злорадным удовлетворением она читала фразу Аббата Сиеса о сладости старых дней, о том, что для познавших их уже не могло быть счастья в новых. Русская революция подтверждала это еще более. В маленькой городской библиотеке она выискивала запыленные тома мемуаров людей старого времени, журналы „Русская старина“, „Старая усадьба“ и оттуда вставала перед ней прекрасная и невозвратимая жизнь. И опять сжимали горло спазмы от боли за тот мир, вместе с радостью страдания за него, во имя былой России, той, за которую умерли Государь и его семья. Портреты царской семьи висели у нее на стене на самом видном месте, несмотря на запрещение их хранить; она была бы счастлива, если бы ей пришлось за это пострадать, даже умереть. Она не была вольна в смерти, но не испугалась бы ее, — думала она с тайной гордостью, с неким сладострастием жертвы, — а смело приняла бы ее, ибо к новой жизни ничего нельзя иметь, кроме отвращения — ко всем этим серым и необразованным, вульгарным, и неинтересным людям, большей частью дурно одетым и плохо мытым которые строили вокруг какую-то „новую“ жизнь. Иные из них брали, даже, уроки языков у нее, потев и изнемогая от непосильного труда, — зачем им были языки? — недоумевала она.

Женщине за 30 лет остается в жизни вообще одно отречение — приходила ей иногда в голову чья-то фраза, наполняя болью, вопреки всем ее прежним построениям, и тогда еще более страстно она бежала к религии. Блажен, кто бросил

якорь не в эти житейские волны, бездонные волны жизни!— твердила она с восторгом, подразумевая себя и по многу раз на день бралась за Евангелие, каждый раз поражаясь его светлостю миру и мудрости, или к стихам Соловьева и Тютчева, к немецким романтикам, к Новалису и Айхендорфу и с жаром читала их мистические строфы:

„Du bist mein Schatten am Tage
Und in der Nacht mein Licht“

И ей казалось, что здесь таилось спасение.

Однако, иногда, этот экстаз жертвы и самоотречения вдруг, неожиданно и беспричинно, оставлял ее, в особенности в летние жаркие дни; мир вставал во всей своей неотразимой и грешной красе и все, что казалось прежде незыблемым, разом обращалось в прах. Она оставляла Евангелие и старые книги и хваталась за русских декадентов, за Блока и Сологуба, и нараспев, лежа на кушетке, читала их неясные стихи, полные какой-то возделенной и темной муки и неги, стыдясь за себя, и все же не в силах оторваться от их плотского очарования. Так прошли первые годы здесь на Севере.

И, сидя теперь над рекой, она спрашивала себя, недоумевая: для чего же она была рождена в этот мир в это время? Кто знал и кто мог дать ответ? Начинался склон, дорога к смерти. И если была у нее какая-то задача или назначение в жизни, то остались они для нее неизвестными, и это было особенно горько.

Солнце спустилось за лес на дальнем берегу. И почти в тот же миг вновь вышел рядом огромный, медно-зловещий шар и словно повис в воздухе. Мгновение все было залито мертвенно-кровавым светом, но шар ожил, закипел, во все стороны полетели, рассыпались искры и лучи, и снова мир заиграл в солнечном свете. Начался уже новый день. Ласточки с шумом выпорхнули из нор на берегу и понеслись стаями над рекой. Рябь побежала по воде, потянувшейся туманом, как дымом. Где-то вблизи густо загудел одинокий овод. Стало свежить. Из-за мыса выбежал белый пассажирский пароход и прошел мимо по розовой воде, выпуская волны веером, плавно, как лебедь. На палубах, никого не было. На мостике одиноко стоял капитан. Его фигура и весь пароход казались воплощением мирной жизни и мирного труда, как вся эта тишина, и солнце, и радостный свет, и светлые блики на девственно желтом песке, и высокое и еще бледное небо, в таком противоречии с действительностью, что творилась днем, с действиями людей, и в таком грустном единении с тем, что происходило в ее душе. Мы вне природы—подумала она,—чем ближе к ней, тем покойнее душа. Она встала и медленно пошла

к дому. Тонко нашло воздухом, и по небу уже вытягивались длинные белые ребристые косы облаков.

II.

Назавтра к ней вновь пришел под вечер ссыльный казначий офицер. Последнее время он приходил каждый день. В городе считали их женихом и невестой, но они не были ими; их связывала общая участь ссыльных. Вместе они были заняты в городской школе: она давала уроки языков, а он — математики; оба они не могли выехать из города без разрешения властей и каникулы проводили вместе, гуляя по окрестным полям и лесам, и темой их разговоров была всегда Россия. Ему шел сороковой год; был он высок, сух. лицо его, мужественное, худое и некрасивое, походило в профиль на Данте; он мало говорил, казался всегда мрачным и нелюдимым. Она знала, что он бывает только у нее, сама же замечала, что ждала его прихода, и в дни, когда он отсутствовал, чувствовала себя не по себе, точно ей чего то не хватало; она думала, что жалела его в его одиночестве, что это дружба двух бывших людей, что он из последних „белых рыцарей слова и долга“, и если бы ей сказали, что она любила его, она была бы, вероятно, оскорблена.

На севере он находился уже много лет. Во время гражданской войны на юге он был ранен и взят красными в плен, приговорен к расстрелу и спасся только потому, что брюшная рана приковала его почти на год к больничной койке. Потом он был сослан сюда на север в лагерь для офицеров и через несколько лет выпущен на волю без права выезда. В России он не имел никого близких: отца его, старого казака, повесили красные на дереве вниз головой; так провисел он много часов до смерти, вороны при жизни выклевали ему глаза; мать погибла от голода в двадцатых годах, а два брата перешли во время войны к красным и бились на противной стороне. Только она знала про эту тайну, мужишную его, ибо он считал, что и сам покрыт позором измены братьев. Как и она, он был влюблен в прошлое России, ее былую боевую славу, и утешение находил лишь в книгах, в романах Толстого и Тургенева, и едва мог удержаться от слез когда читал описание старой помещичьей или крестьянской жизни, об усадьбах, о хуторах на Кубани, где он когда то, давно, давно, мальчишкой, уводил табун лошадей на пастьбу в степь, о старых людях, о Наташе Ростовской, о старике „Чистое дело марш“ или о деде Еропке из „Казачков“, полный какой-то томительной уверенности, что все это не кануло в вечность. Он ненавидел новую Россию, если можно только было так звать ее и людей, ее творивших, и будь он где нибудь в центре, на виду, в Москве, вероятно давно уже попался бы вновь, так открыто и неприми-

римо носил он свои чувства и был бы, скорее всего, расстрелян, а здесь, в этом маленьком городке, ГПУ его просто не понимало, ибо сидели там не люди, — как говорил он, — а только дууногие.

„Бежать, бежать!“—убеждал он себя иногда, на мгновение страстно цепляясь за эту надежду, но тут же спохватывался: „Куда бежать? России нет больше, всюду один и тот же позор, а за границу? — Россия от этого не вернулась бы. Стоило ли бежать, спасая только себя?!...“

Временами на него находили приступы глубокого отчаяния, такие, которые кончаются, в конце концов, самоубийством, ибо он не верил в Бога, правящего судьбой каждого отдельного человека, и еще менее в Христа. Дни и ночи он проводил за новейшими математическими изысканиями, за проблемами современной физики и приходил к заключению об иллюзорности материи и о ложности видимого образа мира; конечное становилось как то равным бесконечному. Это давало ему известное философское утешение, сознание, бренности всего бытия и порождало в то же время не то чувство, не то веру, в некое всевышнее существо, в некую единую силу, которая, впрочем, могла быть и злой, а скорее всего равнодушной к судьбам людским, ибо злое сеялось ею не в меньшей степени, чем доброе.

Потом приехала в ссылку она и появилась в школе, и подошла к нему, как и ко всем учителям, и сказала, явно картавя: „Здравствуйте, я очень гада“.—„Наташа Ростова“, ударило ему в голову. Да, это была живая Наташа, сошедшая с Толстовских страниц, это было женское видение из прежней России. Он сразу же распознал в ней существо того прекрасного мира, и его потянуло к ней, но он чуждался ее в начале, ибо, судя по имени, происходила она из одной из самых старинных семей России, а он был только казак, „плебей“, как убеждал он себя с нарочитой гордостью. Однако, она не замечала, или не хотела заметить ни его холода, ни сумрачного лица, и подходила к нему, как и ко всем другим, и заговаривала доверчиво. Ни он, ни она не помнили теперь больше, как вышло так, что они соплились ближе и он стал провожать ее до дому, потом заходить к ней и все свободные дни сопровождать в прогулках за город, полный счастья. Она казалась ему совершенной. Род ее принадлежал к самой отборной знати России, но в ней совершенно не было ни глупого чванства, ни снобизма, как, увы, у многих представителей былого режима, которых он знал по войне и лагерю, делавших их нестерпимыми.

«Древнее имя, титул, герб»,—говорила она, «все это очень красиво, как красива старая бронза, мебель, фарфор, но и только, не более...» В душе он не был с ней согласен. Тысяче-

летняя аккумуляция голубой крови, духовной, утонченной культуры, не могут пройти бесследно,—думал он,—уже по одному закону отбора. Это должно привести, быть может, в конце концов, к некоторому телесному истощению, но и к духовному благородству и, прежде всего, к тонкости. Она являлась для него воплощением настоящего аристократизма, как он его представлял, аристократизма тела и духа: была проста и предупредительно—одинакова со всеми, полна исключительного чувства долга и необыкновенной внутренней чистоты. Появление ее заставляло его, в сущности, только больше страдать, ибо то, что он полюбил в старине из книг, теперь предстояло ему воочию, делая современность еще более нестерпимой.

Оба они полюбили город их ссылки, как место, где много выстрадано. Этот крохотный древний городок, с маленькими деревянными домиками в палисадниках, заросших черемухой, рябиной и малиной, с деревянными мостками, вместо троттуаров, со множеством старинных церквей, стал им как бы символом умирающей и страждущей России. Он был знаменит когда то, был первой российской гаванью и резиденцией северных епископов. От бывшего величия остались лишь каменные храмы, непропорционально—огромные для этого умершего городка, давящие своей величиной; после революции их закрыли один за другим или предали осквернению. На берегу реки, за оградой высился бывший кафедральный собор, огромный четверик необыкновенной строгости линий, с пятью массивными куполами в виде луковиц. Купола и белые стены горели на солнце нестерпимым блеском. Собор был также закрыт и кричт сослан, столетняя тропа от ограды к ступеням стала уже зарастать травой, птицы испачкали стены и окна. Рядом же с собором был раньше женский монастырь, превращенный после революции в лагерь, где он как раз и сидел, а после полуразрушенный. Из монахинь остались только две, они жили где то в ограде, в руинах, как две погорелки на родном пепелище, ходили не в монашеском одеянии, но по прежнему в черном. Одна была еще не стара, лицо ее, под черной накидкой, было красиво, бледно, одухотворенно. Они сохранили как то ключи от собора и усердно запирали его, хотя окна всюду были разбиты. Собор был полон света и теней, свежей острой прохлады, векового запаха камней, гулко-го биения крыл голубей, витавших под куполом. С древних икон смотрели, строго и грустно, потемневшие лики святых, Богородицы с неизмеримо—печальными глазами, лики, написанные одухотворенной, проникновенной кистью неизвестного мастера. Частью лики были уже осквернены, глаза святых выколоты, к лицу Богородицы прималеваны усы и борода, иконы покрыты нецензурными надписями. Монахини крести-

лись, поспешно закрывали ладонью глаза, плакали. Они водили гостей на хоры, в огромную высь и вспоминали, смахивая рукой слезы: «Бывало пели сестры наши здесь ангельскими голосами, как в раю».

Вдоль отсыревших стен стояли мраморные гробницы былых епископов, с надгробьями, высеченными вязью на плитах. «Преосвященный Афанасий, первый епископ Холмогорский и Важеский»,—гласила одна подпись:—«родился лета 7149, преставился лета 7211 дня 12 сентября. Святительствовал 25 лет с половиною. Был добрый пастырь и просветитель края,» и далее шел мадригал в стихах. Этот счет лет от сотворения мира по представлениям тех времен и эти гробницы, пустой и холодный храм,—все действовало необыкновенно сильно, гласило о тщете и бренности мира, и казалось невероятным, что текло когда то, действительно, время, о котором здесь вещалось, столь разительна была перемена.

От монастыря, рядом с собором, остались только выщербленные осыпающиеся стены. Он провел ее раз по ним. Здееш он пробыл около двух лет в заключении, когда тут помещался лагерь, и каждая пядь была ему, увы, черезчур знакома. Лицо его дергалось, когда он говорил: «Это была наша комната—белых офицеров, в бывлой трапезной монахинь. Здесь—женская палата. А это был карцер,—смотрите—наши надписи на стене... А здесь расстреливали...»

Церковные службы в городе шли в кладбищенской церкви, единственно незакрытой. Высокий старый священник свершал богослужения. У него тряслись от старости руки, тряслась седая длинная борода, как и все его тело, дрожал голос. От былого причта остался он один, не было больше ни хора, ни диакона. Священник путался в словах, уже не владея памятью. В церкви всегда стоял полумрак, не зажигались свечи, две-три одинокие старухи молились, вздыхая, на коленях. Она ходила к службе, ибо ей, как ссыльной, уже нечего было бояться или терять.

В два года они исходили все ближайшие окрестности. Сразу же за городом простирались необозримые луга, поля, с лесом на дальнем горизонте, — огромная ширь и тишь. Край был когда то церковным, монастырским, куда ни оглянись—еще возносились главы деревенских деревянных церквей. И они, большей частью, были тоже осквернены, входные плиты проросли травой, окна и двери были выбиты, на полу валялись разорванные священные книги и одежды среди человеческого нечистот. Службы не шли, не звонили колокола, духовенство было сослано. Они бродили летом по пустеющим деревням, когда то, видно, привольным и богатым, а теперь со множеством заколоченных накрест окон и дверей, видели

умирание былого крестьянского мира и обычаев его, освященных веками, во имя какого то чудовищного коллектива; видели неспаханые, засыхающие поля, бездомный скот, скитавшийся с унылым ревом, видели, как гнали на Север, в леса, огромные потоки ссыльных крестьян с юга—Украины, Волги, Туркестана.... Это был конец былой России, агония ее, и все это связывало их еще более общей смертельной болью.

Иногда, после таких скитаний, она задерживала его у себя к вечернему чаю. Большею частью оба молчали при этом, подавленные тем, что видели и пережили; иногда она рассказывала что-нибудь, часто об Италии, Франции, Англии, куда они ездили раньше на лето всей семьей. «Боже мой,»—вспоминала она, «Россия—так прекрасна, а мы сшибовали ее и ездили только за границу—каждое лето. Зачем?»

Она показывала ему собственные снимки, сделанные маленьким кодаком, случайно уцелевшие у нее; „Это башня, где сидел Савонаролла, — с каким трепетом я бродила по Флоренции! Вот Рим, Форум. Я была на нем ночью—он лежал весь под лунным светом. Какой то английский студент декламировал громко Байрона, стоя на руинах—O, Rome, my country!.. показывала старые семейные миниатюры, медальоны, записные книжки, вещавшие о веках тонко прожитой жизни. „Осколки разбитого вдребезги,“—говорила она. „Вот моя пробабка!“—На него смотрела старуха в чепце, с суровым породистым лицом.—„Медальон этот она получила от жениха в день свадьбы. Видите надпись:—*A l'ange de ma vie!* А дальше, видите, прибавлено уже старческой рукой, после долгой жизни, прожитой вместе:—Написано рукой моего незабвенного мужа в день нашей свадьбы.—У них было, кажется, 16 детей. Как они умели жить раньше, какая была гармония души и тела, какая святость чувств и полнота счастья“.

И им невольно овладевало отчаяние от сознания, что жизнь эта уже совершенно невозможна для него, что он не имел ее даже в прошлом, и что такого счастья уже никогда не будет на земле. Ему давно стало ясно, что он любил ее, хотя он и старался убедить себя, что не может более никого любить. В ней нравилось ему все: некоторая хрупкость ее фигуры, и низкий голос, и простая гладкая прическа на старинный лад, как у прерафаэлитских женщин, нежное худое лицо, худые беспомощные запястья, вздрагивающий смех, и речь ее,—картавая и пересыпанная иностранными словами. Он любил ее и говорил себе, что об его чувстве она никогда не должна узнать. Не ее вина, а его, что он не владел собой: она не давала никаких поводов со своей стороны. И он потерял прежнюю естественность и, идя к ней, часто, мучительно думал, как и о чем будет говорить, и как подойдет, и можно-ли целовать

ее руку, и что манеры его, вероятно, ужасны, и что она должна его внутренне презирать. Но она держала себя с ним всегда непринужденно, всегда ласково, каков бы он сам ни был, и с ней он отходил, в конце концов, от своей меланхолии и недоверия. Его тянуло к ней ежедневно со страшной силой, но он сдерживал себя и даже старался отдаляться от нее и реже бывать, ибо думал, что от сближения лишь проиграет, а она так много, так несказанно много выигрывала, была так совершенна, несравнима ни с кем из людей, которых он знал! Она благосклонна и снисходит до меня,—думал он дома один,—ибо здесь никого нет, и ему казалось, что слова ее часто содержали двойной смысл и насмешку над ним, и целыми неделями он не шел к ней больше, оставаясь, однако, часами на улице, даже зимой, в надежде, как бы случайно, встретить ее. Потом не в силах более ждать, шел к ней снова, и она встречала его, как ни в чем ни бывало, всегда ровно, словно не заметив его отсутствия, и это равнодушие убивало его еще больше.

Сговариваясь на прогулку, она всегда говорила:

„Смотрите, не пропадайте! Я же боюсь одна гулять!“

И он думал с раздражением: „Ей ничего больше не нужно от меня, как только сопровождать ее во время прогулок.“

Иногда он так строил свои фразы во время разговора, чтобы ответ ее определил ее отношение к нему, но выходило всегда как то так, что по словам ее ничего нельзя было заключить, и эти несказанные слова, которые она могла бы сказать, были еще мучительнее. „Я ей совершенно безразличен, совершенно!“—убеждал он себя.

„У Вас отвратительный характер,“—смеялась она,—„Вы ужасно не просты, будьте проще и не ищите двойного смысла, и верьте, что к Вам хорошо относятся.“

И сейчас, идя к ней, он думал обо всем этом, с горечью за себя, а еще более за нее. Для чего родилось это чувство, бессмысленное и безнадежное? Не мог же он предложить ей выйти за него замуж,—убеждал он себя,—стараться использовать ее доброту и незащищенность. В старое время она не могла выйти за него замуж, это был бы мезальянс, значит, он был недопустим и теперь, хотя, возможно, из чувства дружбы, отказ ей и был бы затруднителен. Но именно потому он и обязан был отказаться от всякой надежды. Однако, дальше так продолжаться не могло. Не хватало сил дальше оставаться здесь немым свидетелем умирания и унижения России без всякого просвета. Постепенно всех ссыльных забирали из города в леса, на сплав, пока только простой народ, мужиков и баб, но он знал, что очередь дойдет и до него и, это ужаснее, до нее. И ее погонят в лес и, может быть, скоро,—на верную

гибель. Бежать! — подумал он опять и остановился: бежать вместе с ней!.. У него захватило дыхание: каким это было бы счастьем! И почему этот выход не приходил ему раньше в голову? Он не думал куда, как и в качестве кого она бежала бы с ним, и только твердил: бежать, бежать вместе с ней!..

У Она сидела в своем углу на кушетке у печки с книгой в руках, столь простая, земная и необыкновенно прекрасная, как ему казалось. Веяло от нее другой жизнью, другим благородным и утонченным миром, существовавшим теперь в его воображении и в книгах. То, что он испытывал при виде ее напоминало ему чувство, которое вызывали в нем воспоминания детства. И сегодня, как всегда, было в ней нечто, дававшее ему понять, что она ждала его. И это наполнило его радостью. Отложив книгу, она протянула ему руку, не вставая:

„У Вас опять мировая скорбь?.. Что с Вами?“

„Я ае могу больше,“ — вдруг вырвалось у него, хотя он совсем иначе хотел начать этот разговор, „я не могу больше, я решил бежать!..“

Лицо ее вспыхнуло, будто откуда то упал на нее розовый свет, и мгновенно погасло. Она поникла и ничего не ответила. И он молчал, не зная, что сказать. Мысль о побеге по-теряла свою притягательность, стала эгоистичной, почти пошлой.

„Вас поймают и расстреляют.“

„Пускай! Лучше смерть, чем вечная ложь и пресмыкательство перед ними..“

„А я?“ — вдруг, по детски растерянно, спросила она, вскинув на него глаза; слезы светились в них; губы ее приоткрылись, стали видны зубы и розовая линия десен и это придавало ей совсем детский вид. „Боже мой, что я говорю,“ — спохватилась она, — „простите меня, мою слабость. Разумеется, делайте, как Вам лучше. Вы — мужчина, Вам труднее здесь, чем мне. Мы женщины ведь созданы для терпения. Разумеется, бегите... Сожгите все прошлое, все мосты, начните новую жизнь. Можете быть, Вы попадете за границу... Вас никто не узнает.“

Он хотел протестовать, но эта ее фраза: „А я?“ все еще звучала ему, наполняя счастьем.

„Спасибо за дружбу Вашу,“ — голос ее дрогнул, — „она скрасила мне мое изгнание. Жизнь такая темная и безрадостная теперь, что дружба является единственным утешением. („Увы, дружба, — думал он с горечью: она не сказала: — любовь“). „Вы были верным другом и мне было хорошо с Вами. Спасибо!.. Я понимаю, что Вам скучно со мной одной... Tout passe, tout lasse..—Зачем, однако, я говорю, все это?“

Было видно, что она волновалась, и мысли ее текли без связи; он глядел на нее изумленно, не веря своим ушам: значит он был дорог ей, все таки?

„Разум одно,“ — продолжала она тихо, — „а сердце имеет свои резоны. У меня всегда было так, что я судорожно цепляюсь за что-нибудь, когда другой кто-то, невидимый, это уже отнял... Может сыть, такова участь всех женщин?..“

Ее лицо то всхлипывало, то бледнело, чуть заметно дергалась левая щека, руками она теребила сборку шарфа, накинутаго на плечи. Шарф вдруг упал и оголил ее плечи, а сбоку легли на них два круглые, черные, смоляные локона. У нее было скорбно-красивое лицо, сочные, чуть припухшие губы, плечи ее были столь молочно нежны, что хотелось не целовать их, а кусать, как фрукты. Боже мой, если бы она знала, что я думаю о ней! — в ужасе осознал он и почти помимо себя, схватил ее руку и судорожно припал к ней губами:

„Я люблю Вас, люблю Вас, неужели Вы этого не знаете, не заметили!.. Я люблю Вас, бежимте вместе, будьте моей женой... Мы пройдем за границу!“

Она не взяла обратно своей руки, не отстранилась, но ничего не ответила. Слеза упала вдруг на его руку. Он вскочил со стула и подошел к окну, и остался там стоять, лицом к стеклу. Оба долго молчали. Потом она встала, подошла к нему, и сама взяла его за руку:

„Не стоит, друг мой, любить меня, — не стоит. Ведь это только несчастье. Мы — бывшие — не смеем любить. Я завяжу Вас на всю жизнь и погублю. Мы оба погибнем здесь... И если бы у нас были дети, что вышло бы из них?.. Бездомные, изломанные на всю жизнь существа. А один, Вы еще сможете как то переломить себя, изменить свою жизнь... У Вас еще много сил... Уезжайте, оставьте меня одну... Я Вам приказываю уехать...“

„Но уедемте вместе!.. Милая, бесценный друг, бежимте вместе за границу...“

Ей припомнился вдруг Париж, Елисейские поля, залитые вечерним огнем, блестящий поток автомобилей, их мягкий шум по накатанному асфальту, тихие набережные Сены, аристократический Версаль, куда она ездила когда то одной незабвенной, счастливой весной; она представила себе жизнь там, на Западе, с ее культурой и покоем в сравнении с жизнью здесь, вспомнила, что две трети ее былого мира там, и ее потянуло туда со страшной силой, — но тут же предстали ей вновь умирающие русские деревни, разрушенные усадьбы под Москвой, оскверненные храмы, российские бескрайние поля и леса...

„Нет!“ — ответила она тихо, „я не хочу за границу... Я останусь здесь. Россия уходит в вечность, ее уже больше не бу-

дет, я хочу иметь ее до конца. Эти последние церкви, последние священники, последние крестьяне—я хочу быть с ними. Там будет личная свобода, и безопасность, и сытая жизнь, но я умру с тоски, зная, что Россия умирает и что я ее никогда не увижу более, ибо то, что придет после, будет, может быть, Россией, но новой. Я любила старую и останусь с ней до конца.“

Он молчал. Ей, видно, стало жалко и его,—она погладила его руку:

„Вы скоро успокоитесь. Вы любите, в сущности, не меня, а созданный Вами образ. Во мне Вы ищите олицетворение былой, любимой Вами России, Наташи Ростовой, как Вы говорили. У Вас не любовь, а воспоминание, перенесение былого в настоящее. Таких, как я, Вы за границей, среди эмигрантов, встретите тысячи. Это общий тип, и Вы забудете меня. А я здесь буду жить также, как раньше, мирно и беспорочно,“—она засмеялась, „и однообразно, как капли дождя... Но я не хочу ничего яркого, я бы испугалась... Утомительно... Так спокойнее... Я любила Вашу дружбу и то, что в ней не было ничего грубого... Как *amitié amoreuse*, как у Полины Виардо и Тургенева—казалось мне иногда—или у Пушкина и Элизы Хитрово... Боже, как мне хотелось бы иметь что либо подобное... Но любовь?... Любовь, когда она перейдет в жизнь, она ужасна... Вы любили уже несомненно?“—спросила она,—„увы, и я тоже... Я испила этой воды...“

Эта фраза обдала это болью. Он знал, правда, что она была, кажется, замужем, что брак был несчастлив, но ему казалось, что до сих пор она любила кого то другого, что из ее слов можно было это заключить.

„Кто знает“—продолжала она,—“если бы мы встретились раньше, кто знает, может быть я и пошла бы с Вами. („Нет, ты не пошла бы,“—думал он с горечью,—„и раньше ты не пошла бы, увы, со мной“,—называя ее в уме на „ты“). „А сейчас Вам лучше одному... Бегите и забудьте меня... И прощайте. *Fare thee well and if for ever, still for ever fare thee welll..* Недаром,“—она улыбнулась,—„так часто я вспоминала этот стих, помните?“

III.

Созрели луга, аромат от них тек густой пряной волной через весь город, так что тяжелела голова и клонило ко сну. В окрестных деревнях начали косить. Солнце катилось весь день в седом и беспощадном блеске, была страшная сушь, где то далеко горел лес и пахло гарью. Сухой дым застилал небо, но это не уменьшало зноя. Это была последняя вспышка ле-

та, за которой чувствовалось уже прощанье, умиранье. Белые ночи тускнели. „После Ильина дня сива коня в поле не увидишь“—говорила старая северная пословица. Каждый день она много гуляла в одиночестве по полям, вдыхая жаркий и сухой дух ржи, полная какой то безнадежной, беспредметной тоски, тревоги, неутолимого непокоя. Она думала сначала, что это предчувствие конца лета, томительное действие этих осыпающихся блеклых васильков во ржи, а там близости осени и бесконечной зимы. Да, может быть, это и было так. Но за всем тем стояло все-таки нечто другое, чего не было в прошлые годы, и она скоро уловила себя на том, что мысли ее, в сущности, заняты только им,—с кем она проводила здесь ссылку, и кто теперь ушел от нее. Сначала она думала, что жалела о нем, как о всяком хорошем знакомом, что это пройдет со временем; не могла же она удерживать его и ломать ему жизнь; это было бы просто нечестно, раз она не могла ответить на его чувство. Ей казалось, что она, вообще, не могла любить больше. Было бы недостойно искать личного счастья, после того, как умерло все дорогое для нее, весь ее былой мир. Так хотел Божий промысел. И раз она принадлежала к тому ушедшему миру, ей не оставалось ничего, только отречение от жизни, ожиданье, когда и она сама уйдет во след. Так думала она, вся охваченная горестной жаждой страдания.

Но чувство непокоя не проходило, как прежде, и когда она гуляла по полям, полным света, блеска, жары, все ее доводы рушились, как карточный домик. Что-то было не так!.. Права ли уж она, убеждая себя, что не могла любить?—приходили ей сомнения.—И была ли любовь преступлением против жизни и того мира?

В ГПУ, куда она ходила на отметку, ее тянуло спросить чтонибудь про него, но она боялась погубить его в побеге... И с ужасом ловила себя на желании и даже видела раз во сне, что его поймали и привели назад!.. Потом случайно она узнала, что он получил разрешение отлучиться в губернский город из-за былой раны, что отъезд его и отсутствие были, таким образом, легальными и побег ему несомненно удастся, ибо его долго не хватятся... Озлобление охватывало ее: „Эгоист, эгоист, он все обдумал заранее хладнокровно, заботился только о себе, совсем не любил ее...“ Дома слезы теснили ее, и она плакала долго, до изнеможения. „Да что со мной,“ она рассерженно топала, в конце концов ногой—, что со мной, ему наплевать на меня, а я схожу с ума!..“

Каждый вечер она шла к реке и садилась на берегу на своем любимом месте. Белые ночи кончались, и ей было мучительно жаль их и не было сил заставить себя остаться дома. Днем она уговаривала себя: именно эти бездонные ночи с их

мистическим мертвенным светом, с их ясной и непостижимой, захватывающей далью, лишали ее воли, но к вечеру она невольно вставала и, как лунатик, брела по узкой тропе, поросшей кашкой и подорожником, к берегу и оставалась сидеть над рекой почти до утра.

„Сегодня я пойду в последний раз,“—сказала она себе, —„иначе я с ума сойду от этих ночей“.

Было всего 4 часа вечера, когда она вышла из городка. сразу за домами лежали поля ржи соседней деревни. Рожь была высока, спела, покрыта пылью с дороги. Темные волны беспрестанно бежали по ней, тщетно стремясь догнать друг друга; рожь подгибалась низко, медленно выпрямлялась, словно подломленная их воздушной тяжестью. Кое где рожь уже сжали, жнитва тускло медным блеском искрилась от солнца. Скирды стояли в одну линию посреди поля, покрытые снопом как шапкой, точно такие же, как давно, давно у себя в Тульской губернии. Вдоль межи на привязи пасся могучий пестрый бык и призывно ревел, тяжело ворочая головой, приросшей прямо к груди, и в ответ тревожно и протяжно мычали коровы. Пастух, лет 12-ти, в лаптях, в посконной рубахе, совсем белоголовый, гнал стадо из лесу, с поскотины, в деревню на ночь; коровы шли пестрой гурьбой, почти бежали от комаров, обмахиваясь хвостами, звонко бренчали колокольцами. Пыль роилась над стадом, розовая на вечернем солнце. Влево были видны крыши домов и купол церкви со вспыхивающим крестом. Это была извечная картина деревни, светлый крестьянский мир, что благостоял сотни лет, и хотя она знала, что все глубоко изменилось, что этот покой лишь наружный, что крестьян уже нет, а есть колхозы, что в церкви не служат, а священники давно где-то в Сибири, — все же это был Божий мир. Что бы ни делали люди на земле,—думала она,—остается некий закон жизни, общий для всех времен. Все остальное временно, суетно. В осознании этого закона и в отдании себя ему и заключалась задача жизни. Но что это был за закон?

На берегу она опустилась на камень под ивой, где всегда сидела. Дул легкий ветер, но ива защищала ее. Рядом клубились в чудовищной толчее комары, увлекаемые ветром, и сперва казалось, что их движения бессмысленны; они повторялись, однако, были упорны и неизменны и, очевидно, тоже подчинялись какому то порядку, как и весь мир...

Река играла на солнце; от ее блеска болели глаза. Направо река уходила крутым поворотом, огромный луг распростирался между ней и берегом—былое русло реки. Там шел покос. Косили кривыми косами, по старинному. Косы весело вспыхивали на солнце, разбрасывая блеск, как молнии; иногда долетал нежный звон от точения лезвий; пряный запах све-

жего сена густо тек с луга от темнеющих накошенных рядов. Скоро косить перестали. Мужичьи телеги потянулись с луга в деревню, одна за другой. Парни и девки шли сзади парами, обнявшись, и пели песни. Гармония заводила песню, девки подхватывали ее и все сходились вместе в общем страстном и старинном мотиве. Поющие подошли ближе, прошли внизу мимо, и она различила слова—говорили они об одном: о любви, о суженом, о суженой... Любовь, несмотря на все страдания, на разрушение очагов, на гибель всего былого, на смерть России... Любовь, любовь!... Она встрепенулась: вот он общий извечный закон. Слово, разрешающее все!.. Это было так ясно... Все на земле было призвано подчиниться этому одному закону,—то, что ему не служило, было лишнее, было зло. И, в смятении, она вся содрогнулась, вдруг: а она сама? Она тоже противилась этому закону. Ведь она любила его,—того, который теперь, по ее вине, ушел! Как она могла этого не понять, отпустить его?.. Любя, они оба становились превыше судьбы, выше страдания. Она представила себе его и их взаимную жизнь вместе, зная теперь, что и здесь, в этой бедной и суровой глуши, где, казалось бы, невозможно счастье, или только для примитивных людей, она могла бы быть счастлива—полно, по настоящему, хотя где то далеко были Европа, Париж, свободная, блестящая жизнь. Оба они могли бы быть счастливы, несмотря на то, что находились здесь в ссылке, то есть, были обречены на страдание, ибо счастье—это любовь,—думала она; и прошлое, и Россия потому всегда казались так прекрасны, что там были умение любить и красота любви.

Она забылась и очнулась от пороха. Две старческие, согбенные фигуры в пестрых азиатских халатах до земли, в чалмах, плелись, одна за другой, по тропе. Первый вел второго за палку. Лица их были худы, словно вылеплены из высохшего желтого воска, величественны, седые бороды обрамляли их. Оба прошли мимо, не заметив ее. Это были ссыльные туркмены, их было много в городе. Невдалеке оба остановились, подняли головы к небу... «Аллах, Аллах!»—донеслись до нее страстные возгласы, гортанные звуки: оба молились... Она была поражена выражением страсти на их высохших лицах, этой преданностью молитве.

Небо стояло высоко, хрупкие розовые облака струились по нему, словно подернутые пеплом внизу, сверху расплавленные огнем. Мир был чуден! Зачем нарушали его люди в поисках сытого счастья, когда единственное, что было нужно для счастья—было отдаться, не прекослова, этому миру, с благодарностью за красоту и наслаждение, что он давал, поя и славословия Того, Кто создал его и жизнь в нем. Как было имя Ему? Имело ли это значение? Много давалось Ему имен

и много дорог шло к Нему, но не сходились ли все они в одном Его саду?...

Ей стало грустно, хотелось плакать, что она так поздно, поняла это, что была полна протеста и искусственного восприятия жизни, и ей казалось, что была бы теперь в первый раз по настоящему счастлива, если бы ответила на любовь. Имела ли она, однако, право оставить его здесь? На унижения, преследования, страдания?... Может быть он нашел теперь свободу? Быть может, быть может,—твердила она,—но целью жизни являлось все-таки соединение двух, которые любят. Иного смысла нет. Только зачем думать обо всем этом теперь?—спрашивала она себя с тоской,—уже поздно!..

Она встала и пошла домой. Белая ночь лила над миром печальный лимонный свет. Какие то мысли теснились бессвязно в ее голове, в глубине души билась какая то надежда: она не могла бы определить на что. Так шла она с опущенной головой... и подняла ее на звук шагов.

По тропе, навстречу ей, шел, почти бежал, он. Она остановилась, думая, что это мираж. Но шаги звучно раздавались в тишине. И, вся напрягаясь от радости, она бросилась к нему навстречу и тут же поняла, что смутно всегда была уверена в его возвращении.

„Я знала, что Вы вернетесь,“—закричала она еще издали, „я была уверена, что Вы не оставите меня... Но как Вам не стыдно мучить меня целый месяц! Могли бы вернуться раньше!“

Лицо его было серо, исхудало. Она протянула ему обе руки, и он схватил их, не зная, что делать и говорить, взглянул вопросительно в глаза и вдруг понял и притянул ее всю к себе и стал целовать ее лицо, уши, голову, плечи, а она гладила рукой его запыленные жесткие волосы, иногда коротко всхлипывая, упрекала, забывая, что сама приказала ему идти.

„Как Вы могли уйти,“—говорила она,—«какой Вы глупый! Ведь, ясно, что я Вас люблю, Вы совсем не знаете женщин. Скажи мне:—ты»,—вдруг приказала она, замолкая.

Он покачал головой:

„Не могу.“

„Скажи мне:—ты. Скажи:—я люблю тебя“.

„Я люблю тебя“, неловко сказал он и, схватив ее, понес на руках, склонивши над ней голову.

«Тише, тише,»—оборонялась она, ты сломаешь мне шею!»

Оба пошли потом рядом по тропе к городу—две одинокие фигуры под нежным сводом белой ночи.—

Звезда в ночи

Избушка их стояла за полярным кругом на берегу реки и жили они первое время вчетвером. Трое вскоре умерли: первым—жовиальный, толстый еврей—валютчик, все рассказывавший двусмысленные анекдоты, тогда как глаза его—миндалевидные, черные, с тусклым влажным блеском, как у больного барана,—никогда не смеялись; за ним—молодой чахоточный рабочий из Тулы, сквернослов с черными зубами, угодивший в ссылку за поношение власти в пьяном виде; а третьим вынесли «вредителя», старого инженера — путежца. Остались в живых: монах из гвардейских офицеров, постригшийся уже после революции, старый царский генерал и коммунист—оппозиционер из Москвы. Монах выжил, вероятно, потому, что был в ссылке уже не первый раз—прошел он и через Сибирь, и крайний Север, и Туркестан; генерала спасали старая военная школа и выдержка, а оппозиционеру первое время жилось сытнее: как бывший партиец он получал добавочный паек. Теперь же пришел, видно, и их черед: у всех кровоточили десны, у генерала распухли ноги и он не подымался больше весь день; начал распухать и оппозиционер, хотя пока еще храбрился—вставал на несколько часов, по прежнему любил вести политические споры, вставая при этом чуть не не каждую фразу: «пролетариат у руля», чем вводил в бешенство генерала. На ногах оставался только монах. То была цынга и они знали, что спасения нет, что все они скоро умрут,—если не от болезни, то от голода или холода, знали, что ГПУ загнало их сюда за полярный круг именно с этой целью—истребить их физически,—и поместило шесть столь разных людей в заброшенной рыбацкой избушке, дабы и последние дни жизни сделать им непереносимыми. Вся ко-

лония называлась „торфяные разработки“. Должны были они рыть болото, добывать торф, которого они не добывали и добывать не могли, ибо не имели к тому никаких орудий, да и торф здесь никому не был нужен. Два раза в месяц приезжал агент ГПУ для проверки и приема работы, кричал и грозился для проформы, во видя, что смерть исправно выполняла свое дело, уезжал скоро во свояси, оставив продукты. Последнее время он не появлялся уже около двух месяцев. Сначала стояла осенняя распутица, думали—по этой причине; потом пал снег, пошли морозы, санный путь установился,—человек все не ехал. Они ждали его со дня на день, на работу никто не выходил больше, оппозиционер все выскакивал и смотрел в даль, прислонив ладонь к глазам. Кругом, в остром и холодном снежном блеске, безжалостно лежала немая тундра. И, с трудом передвигаясь, он возвращался в избушку и садился на свою нару, понуро свесив волосатую голову, как пес подбирая ноги.

«Надо идти на пункт,» — объявил он утром, судорожно вскочив с койки. «Надо идти, пускай везут продукты, дадут врача, иначе все погибнем. Я пойду не медля...»

Монах улыбнулся грустно: «Вы же не можете, мой дорогой. Какой-же Вы ходок. Уж если идти, так мне надо...»

«Зря,» — отозвался генерал — «кто бы ни пошел, все равно расстреляют. За оставление места работы, или за побег. Я не ходок, предпочитаю своей смертью умереть... чем от этих сукиных сынов.»

«Как за побега,» — заволновался оппозиционер: «как же можно отсюда бежать и куда бежать—кругом тундра».

«Это они знают лучше тебя, дурная твоя голова,» — лицо генерала выражало полное презрение, глаза его округлились от гнева. «И все равно расстреляют, хоть ты и той же своры.»

«Я прошу Вас меня не тыкать, Вы—невежа!...» — оппозиционер опустил в изнеможении; оба с ненавистью уставились друг на друга. Так было последнее время каждый день. Монах вздохнул, закрыл усталые глаза.

«С Божьей помощью я пойду завтра,» — сказал он затем тихо — «Сегодня уж поздно, к ночи.»

Открыв обитую соломой дверь, он вышел наружу. Уже смеркалось, вечер был чистый, но не морозило, и небо на западе не багровело, а тихо и ровно дышало желтым светом. Ветра завтра не обещало быть. Он взглянул на беспредельные, иссиня—белые снега, зажмурился радостно от блеска, даже улыбнулся, позабывая на мгновение обо всем, взял на руки дров и тут только опять вспомнил: дров оставалось совсем мало! Топили они уже пополам с торфом, от чего сильно дымило и болели глаза. Он давно уже собирался пойти в де-

ревню, где стояло ближайшее ГПУ, и лишь боялся, что не дойдет от слабости. А хотел он туда пойти не только из за продуктов; в деревне власти еще не закрыли, каким то чудом, церковь и он надеялся взять там у священника запасные дары, чтобы причастить генерала перед смертью, а, может быть, и оппозиционера, хотя тот и объявлял тебя атеистом.

Каждый вечер перед сном монах читал генералу Евангелие, читал больше наизусть. ибо лучина горела тускло, чадила, от дыма щипало глаза, и всегда ему казалось, что коммунист настороженно прислушивался из темноты. Он был даже уверен в этом, хотя оппозиционер и натягивал одеяло на голову и поворачивался спиной. Сегодня он читал главу 11 от Матфея, сам не зная почему; какой то голос словно подсказывал ему ее читать. И когда он, благословив генерала, пошел наощупь в красноватой мгле к своей койке, оппозиционер вдруг громко спросил:

«Как это там сказано в конце?»

«Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас,»—ответил сразу монах, точно знал, что его спросят—«Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня: ибо иго мое благо и бремя мое легко.»

„Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас»,—повторил оппозиционер и помолчал—«Нет,—прошептал он, спустя мгновение не успокоит, нет».

«Придите только к нему,»—отвечал, также тихо, монах «и он успокоит и вас».

Ночью ему плохо спалось. Несколько раз он просыпался от холода, укрывался теплее, но долго не мог уснуть; все казалось ему, что надо было раньше пойти в деревню, а теперь уже поздно. И ночь тянулась бесконечно долго. А утром, когда он встал, было еще совсем рано, темно,—единственное окно промерзло доверху, горело багряным цветом, словно стояла за ним огненная стена «Мороз»,—подумал он с тревогой и тело его содрогнулось в остром предчувствии холода. Он затопил печку, вскипятил воды, выпил брусничного чаю с сухарями, и, закутав чайник на столе в одеяло и подушки, чтоб не ушло тепло, перекрестился и хотел выйти.

«Благословите, батюшка,»—глухо попросил вдруг генерал «больше наверно не увидимся».

«Ах, Вы не спите,»—он приблизился к старику: «Как не увидимся, разумеется, мы увидимся, завтра вернусь и доктора приведу»—говорил он поспешно, с неясным сознанием какой то вины, точно он, действительно, не собирался возвращаться. «Господь да благословит!»

Идти надо было около 30 верст, сначала тундрой, а потом лесом, уж перед самой деревней. Дорога шла вдоль реки.

Вела она так до самого океана, вдоль прежних рыбных промыслов, и до революции ходило по ней много крестьянских возов с рыбой, а теперь мало кто ездил; путь установился сам собой—по старому следу. Когда он вышел, были еще сумерки, над землей, в сине—фиолетовой мгле, плавали седые, сухие пары. Он опустил наушники у шапки, завязал тесемки под бородой и пошел сразу ходко, морозу совсем не замечая. Лишь по тому, как быстро побелела борода и перехватило ноздри, можно было судить, что морозило. Он шел очень легко, с удовольствием воспринимая острый колючий скрип снега под валенками.

Ему не было еще и сорока лет; вся фигура его—высокая, послушная,—показывала крепость, выносливость, отличную приспособленность к жизни. И хотя одежда священника и не поражала на нем, все же сразу было видно, что родом он не из духовной среды и лишь недавно постригся. От ходьбы ему стало жарко, он развязал наушники и подставил с наслаждением разгоряченное лицо холодному воздуху. Оно было красиво: за черной, редкой бородой лежали сухие, впалые щеки; две тонкие борозды, заключавшие в скобки большой, приподнятый кверху рот, и его голубые, прищуренные, чуть выщуклые, глаза придавали лицу что то насмешливо-созерцательное, напоминая о портретах Леонардо или Луини. Неожидано он осознал, что где то внутри его звучала мелодия старого марша и шел он в такт с нею. Он рассмеялся и вдруг остро вспомнил Петербург, 1914 год, когда он стал офицером. Ах, жизнь представлялась тогда совсем иной!..

Он никогда не думал, что станет монахом. Родился он в Петербурге, в семье, где почитали церковь и духовенство, мать его была даже повышенно религиозной. Каждую субботу и воскресенье его водили мальчиком в дворцовую или институтскую церковь, и ему нравилось там стоять, впрочем не очень долго, нравились пение и зажженные свечи, было приятно смотреть на институток в рядах, и, проходя ко кресту или к иконе, чувствовать на себе их взгляды. Ему казалось, что и взрослые ходили в церковь больше по каким то другим, не плохим, но совершенно житейским делам, что офицеры особенно молодецкато держались там, а женщины провожали их глазами. Все возгласы священника были очень знакомы, от них веяло теплом, и было бы странно, если бы они не раздались на положенном месте, однако они плыли как то мимо, были лишь орнаментом к другому—более интересному и близкому, не главным, а сопровождением. И дома не раз слышал он, как рассказывали, смеясь, что дьякон удельной церкви, великолепный мужчина с большой бородой, в шелковой рясе, проходя

с дымящимся кадиллом в церкви между дам, говорил на отличном французском: „Pardon, mesdames, mais c'est l'usage!“

Вспомнив теперь про рассказ он, усмехнулся. Тогда казалось ему, что вот кончится лицей он, поступит в гвардию и тоже будет проходить по церкви в мундире и отстегивать палаш—все это выглядело так мужественно. Вышло однако совсем иначе. Пришла война, и он стал офицером гораздо раньше, чем он думал, не кончив правоведения, и сразу же уехал на фронт. Он вспомнил петербургский вокзал, ликующую беспокойную толпу на перроне, словно лес колыхаемый ветром, и, среди шума и движенья, одно самое дорогое, неуверенно улыбающееся и вздрагивающее лицо, готовое ежеминутно заплакать, нежное белое платье, и запах духов и волос,—и при этом воспоминании что-то жалобно зазвенело в его сердце... Жизнь представлялась тогда, действительно, совсем иной, как будто была это не жизнь, а захватывающая и очень веселая игра!.. А затем потянулись страшные годы, о которых у него никак не складывалось связного представления: иногда вспоминалась бурая грязь в траншее, мокрый, псиный запах шинели, другой раз сладковато-горький, сухой дым пороха или пушистый взрыв гранаты в воздухе, развороченное, дымящееся брюхо лошади на земле, с зелеными, стекловидными кишками, а чаще всего вставляли в памяти бесчисленные эшелоны серых, низкорослых солдат, запрудивших все вокзалы... И, наряду со всем этим, стало тогда отмирать то ощущение жизни, как веселой беззаботной игры...

Потом пришла революция, пришла как то мгновенно и внезапно, как если бы вдруг погасло солнце, и словно несерьезно, не навсегда, а лишь на несколько дней; завтра казалось опять все будет по-старому—но тьма, навалившаяся на землю росла, ширилась, и, вместе с ней, росло сознание безнадежности, некоей вечной, невозвратной утраты. Южный поход против красных он проделал простым солдатом. И две сцены запечатлелись у него особенно. Первая—это было в самом начале,—как шли они в степи по гололедице, несколько сот человек в рваных, мокрых шинелях, с винтовками в руках, уходя куда-то в неизвестность, во мглу. Впереди шел, ковыляя, прихрамывая, опираясь на палку, старый генерал, главнокомандующий российской армии, с приподнятым воротником, с мокрыми, седыми усами, а навстречу рвал и свистел ветер, рушился мокрый, липкий снег, над ними кричали с пронзительным скрипом, каркали вороны... И было во всем этом что то погребальное... Так же ярко помнил он—и это было в самом конце,—как брел он по улицам Ростова в форме юнкера, сам не зная куда, весь разбитый после многодневного отупления, полный ужаса, и отчаяния, и сознания, что все проиграно. Вдали, там,

откуда неудержимо, как лава, катила Красная Армия, полыхали зарницы, и ему почему то все приходило на ум стихотворение Блока „На поле Куликовом“. А город еще ничего не знал, ярко горели витрины, шатался праздный, разношерстный народ, из кафе доносилась игра скрипок. И он вспомнил, как, всего две недели тому назад, собирался он с юнкером Пазухиным с фронта в отпуск в Ростов, тот обещал познакомить его со своей невестой. А следующей ночью юнкера убило. Снарядом разнесло паровозный котел и Пазухина, стоявшего рядом, обдало паром, он сварился живьем, труп его был похож на старый сморщенный гриб... И вдруг, когда он так брел среди уличной толпы, набежали на него две молодые девушки, гимназистки, и одна из них с нежным, порозовевшим от движения лицом, со вздрагивающими ноздрями, спросила его звонко и весело, и из глаз ее словно сыпались лучистые зерна.

„Простите, Вы—юнкер? Да?—Скажите, Вы не встречали, не знаете...?“—она вспыхнула еще больше: „где теперь может находиться юнкер Ростислав Пазухин?“

И, вероятно, лицо его слишком ясно показало охвативший его ужас, ибо она как то осела вдруг, приоткрыв рот и глаза, словно что то увидела или ожидала удара, растерянно улыбалась, поблекшая,—будто высосали разом из нее кровь: „Что, что?...“ спросила ее подруга.

„Убит,“ ответил он.

И она упала к нему на грудь, как к брату, и рыдала, сухо и коротко всхлипывая, и все порываясь что то сказать, но ничего не выходило. Так и проводил он их до дому... Навстречу по улицам уже катила, толкаясь и задирая, серая толпа, фабричные девки и парни, с необычайно грубыми и довольными лицами, беестыдно громко раздавался их визгливый смех. В ту же ночь вошли красные, над городом пылало небо, звонко лопались выстрелы и дико метались люди, убегая, как скот во время боя. И он куда то бежал... и было ощущение великой мглы и какого то смеющегося оскала сзади. К белым он уже не мог примкнуть, стал пробираться в Москву. Многие месяцы скитался он, как бездомная собака, спал в лесах, под мостами, и вышел наконец к себе на усадьбу в Тульскую губернию. На месте дома было пожарище, торчали глянцевики черные пни, развалины печей, и среди них метался ветер, вздымая сажу и обгоревшие клочки бумаги; гремел в обугленном железе. Наклонившись он поднял рыжий кусок какого то письма, написанный рукою отца. А вечером он пробрался на деревню в поповский дом и попадьа рассказала ему. Беззвучно рыдая, что отца его и мать увела Чека, также как и ее мужа священника, и все просила уйти, не погубить. „А с сестрицей Вашей и с барышней, что приезжала к Вам, сделали

хуже...“ начала она, но он, не слушая ее, выбежал, закрыв глаза руками...

Назавтра, когда он шел лесом, был ослепительный весенний день, пахло остроживуче от берез, от ивы, уже зацветших; между стволами стремительно вонзались лучи, игольно тонкие; от земли, от прелых листьев вздымался пар и воздух был мягкий, словно разбухший. Но теперь от этого блеска и света было еще ужаснее жить, ибо за всем чудились смерть, оскаленный темный рот, пустые глазницы, вчерашние обгорелые пни. Он остался в Москве у знакомых; в Петербург было слишком тяжело идти. И так жил он с чувством великой мглы над Россией, огромного, сплошного пожарища, и чем дальше, тем яснее становилась серая бессмысленность и жестокость жизни. И вот раз вечером, проходя по одному из переулков Арбата, зашел он случайно в церковь, где не бывал уже давно, почти всю войну. И сразу же, едва он ступил за порог, по стертým плитам, по худенькому половику, и увидел знакомую с детства картину иконостаса с темными иконами святых, он почувствовал, что у него словно отошла вдруг душа, как будто наступил перелом после тяжелой, долгой и безнадежной болезни. Было невыразимо сладко и проникновенно грустно на душе от пения согласных женских голосов, от тихих знакомых возгласов священника из за царских врат, от полутьмы и свечей, нежно и часто мигавших; жил здесь нетронуто старый мир, или даже что то надземное, вневременное. С тех пор он ходил в церковь каждый день и жизнь постепенно приобретала какой то иной смысл; мир казался чище, лучше, иначе; так стал он в конце концов монахом. Монастырей к тому времени уже не осталось в России, был он монахом в миру.

А последнее время, уже здесь на севере в ссылке, он опять неожиданно лишился покоя. Пришло это не от ссылки, ибо он уже много раз сидел и в тюрьме и в лагерях, много раз глядел в лицо смерти. Вдруг стали охватывать тоска, смутный непонятный страх; и было это мучительно и стыдно после уверенности недавних лет. И теперь, во время пути, налетел опять тот же голос—как черная птица. „Отойди от меня сатана!“—сказал монах, вздрагивая, перекрестился быстро и заставил себя переменить мысли. Все зависело от того, что поставить перед собою! Но внутри его кто то уже смеялся: вот опять пошла философия могилы! Ты грешишь против своего тела: оно, созданное идеально, имеет всего одно единственное назначение, и, не выполнив этого назначения, ты грешишь также и против Создавшего твое совершенное, неповторимое тело, которого никакая техника, никакой мозг человеческий никогда не воспроизведет... Нахмутив брови, он вновь проговорил, задыхаясь: „Отойди от меня сатана!“ Он уже поставил пе-

ред собою Бога, свет. Надо жить так, что бы не замечать тела, ибо единственное в чем нельзя сомневаться, это наш дух, единственное реальное, что мы воспринимаем. Но „Бога“ имеет, вероятно, и оппозиционер—„Патло“,—как звал его генерал. Почему ты думаешь, что он не имеет Бога?—спрашивал он себя дальше. Какого нибудь „Бога“!.. Ты веришь, в сущности, смутно тоже, кажется, только в некое высшее существо из чувства своего космического ничтожества, но в высшее существо, вероятно, верит, по своему, и собака, чувствует что-то, во всяком случае, и боится,—это уже несомненно. Отчего же собаки так беспричинно и жутко воют по ночам. если не из боязни этого „высшего существа“, то есть собственной малости? Может быть и твоя вера есть та же одна боязнь неведомого и смерти? Никакой заслуги тут нет. Ты о Христе реши! В Христа веруешь ли?

„Верую,“—сказал он упрямо — „верую“.

Шел он быстро, как в чаду, иногда заплетаясь в ярыги ногами и спотыкаясь, и все ускорял шаг, сам того не замечая. Плыло солнце в сухом и легком тумане, роясь лучами в снегу, вспыхивавшем ослепительно острым, многоцветным блеском, почти слышно; по дороге недавно прошли сани—две свежие борозды убежали, синевя, вдаль; заячьи и лисьи следы плели синий замысловатый узор, вешки по бокам дороги и редкие карликовые березы были убраны снегом, как ватой, и походили на неуклюжих белых медвежат. Крупный волк вышел на дорогу и затрусил за монахом, но был, видно, не голоден еще и скоро отстал, а тот шел, ничего не замечая, весь углубленный в себя. Так сделал он почти две трети пути и очнулся, как то разом, уже когда стало смеркаться, вдали виднелся лес. Он остановился, оглянулся и замер.

Кругом была необъятная синяя тишина, уплывали волнисто и бесшумно вдаль голубые пески, чуть искрясь, и веяло от всего неким великим, предельным, космическим покоем. Там, вдали, широко разлилось над тундрой золотисто-красное небо; иногда багровые, как кровь, лучи капали на снег и газли, а над этим светящимся сечением тундры и неба летели, пронизывая его, облака—белые, пылающие плоскости, как крылья огромных самолетов, уплывающие куда то за наш мир. Монах содрогнулся от нечеловеческой, неземной красоты всей картины—этого бесплотного холода, этого божественного света! И непознаваемая суть природы, сознание ужасающей бездны мира потрясли его. „Если жизнь заслуживает того чтобы ее жили, то только в созерцании абсолютной красоты“—вспомнил он чьи то слова. Теперь же человек стоял почти вне природы, потому, вероятно и стал он так изменен. Между тем, один вечер, проведенный

здесь, наедине с тундрой, способен исцелить от безверья, всего один вечер—и человек славит Бога!..

Он пошел медленно дальше. Тундра кончилась. Дорога вела сквозь березовую рощицу; он хаживал сюда не раз, когда жил в деревне, первое время ссылки. Теперь, под снегом, стояла она, понуро, опаленная до бела морозом, бесушнно и бездымно тлела. А дальше начался ельник; розовый свет вспыхивал в его темной глубине, словно порхали там птицы. И было что то домовитое и уютное в этом лесу, дремотно-маящее, древне-русское до того, что хотелось войти туда во тьму, под покров этих отяжелевших от снега, широких ветвей, и сесть прислонившись к белому сухому барашку ствола. Когда он подошел к деревне, стало уже совсем темно. На самой околице стояла огромная черемуха, немного подале за ней была церковь, а священник жил на другом конце у зырянина. Дерево черно и безобразно торчало, словно вырвали его и поставили вверх корнями. В избах светились огни из за красных занавесок. Из труб вздымался дым в темное небо, к звездам, ровным столбом. Пахло печеным, едой; где то упорно заливалась собака—стихала на мгновение, повизгивала и вновь заходила лаем. У него заныло сердце: как походило все это еще на старую Россию,—вся эта ночь, седое небо, черные избы, придавленные снегом, этот красный свет в окнах, за которыми чудилась нетронутая, мирная жизнь в ожидании праздника—послезавтра было Рождество Христово...

Он стал пробираться задом к дому, где жил священник, но собаки залаяли громче и он вышел обратно на улицу. Она была совершенно пуста, и, когда собаки переставали лаять, поражала глубина тишины,—словно нависла над селением некая глухая угроза. Так бывало на войне—вспомнил он—в минуты затишья канонады. Темнота опускалась густой массой на избы, понуро стояли кусты; от них, от кривой изгороди под снегом веяло заброшенностью, сиротством. Он взглянул на небо, в немую мглу, на синие огни звезд и ужаснулся всей великой затерянности этого места в мире. Где то были Москва Петербург, Париж, Лондон—он даже улыбнулся: до того они казались невероятными—а здесь тоже столетиями текла своя жизнь, казавшаяся тем кто жил здесь, несомненно, самой важной, единственно важной в мире!.. И церковь, за оградой из жердей дышала одиночеством, каким то сиротским покоем, крест ее сухо вспыхивал в лунном свете.

Вдруг монаху показалось, что в темных окнах церкви мерцал свет. Он приостановился нерешительно, присмотрелся, и быстро вошел в ограду. Ко входу вела утоптанная тропа; крестьяне видно еще ходили в храм. Дверь подалась под его рукой и, войдя, он сразу же в свете одной лампы увидел

фигуру, полулежащую перед образом. Она не шевелилась, не слышала шагов. То был отец Федор, местный священник, он узнал его по рясе и по седым волосам.

«Отец Федор»,—осторожно позвал он.

Священник вскопчил, отшатываясь в испуге.

„Это я, брат ваш во Христе,—монах Николай“.

«А, это Вы»,—отозвался безучастно священник и тотчас же упал к нему на грудь и, захлебываясь слезами, заговорил жалко: «Закрывают церковь... закрывают... даже святому празднику Рождества Христова не дают отслужить... Ах, Боже мой, Боже мой, почто наказуешь так меня—недостойного раба твоего!.. тридцать лет был я в сем приходе... тридцать лет служил в храме сем... Попадья лежит в ограде, и сам думал лечь там... Не судил Господь...“

Легкое, тщедушное тело старика тряслось и, обнимая рукой его острую прыгающую лопатку под тонкой рясой, монах почувствовал ясно, что человек этот очень скоро умрет, жалость охватила его и он сам заплакал.

«А Вас Бог послал»,—заговорил тихо отец Федор—«Все скорбел, нету священника, исповедаться перед смертью, чую скоро умру...“

В полутьме тихо они отслужили вечерню, пропели канон Рождества, исповедали и причастили друг друга И когда отец Федор вынес из алтаря запасные дары в ковчежце и монах бережно спрятал его себе в одежду, оба они благословили друг друга еще раз, обнялись безмолвно; монах перекрестился и вышел осторожно на крыльцо.

На улице попрежнему никого не было. „Никто не заметил“,—подумал он—«отцу Федору не грозила опасность“—и быстро зашагал, весь полный того необыкновенно—легкого и единственного чувства которое всегда вызывала в нем церковь, мерцанье лампад, темный иконостас, кадильный дым в особенности же причастие. Шел он теперь прямо к помещению ГПУ. Там был комиссаром молодой красивый латыш, а помощником—вечно пьяный русский из учителей. Монах знал их обоих. С похмелья помощник был мрачен и злее латыша, а пьяный—добрее. ГПУ помещалось в прежнем священническом доме, окна были освещены, на крыльчке сидел часовой в шубе, с винтовкой.

«Ты чего»,—лениво остановил он—«пропуск имеешь?»

«К уполномоченному»,—ответил монах.

«Погоди, спрошу»,—солдат поднялся—«Иди в избу»,—закричал он уже из дверей и монах улыбнулся невольно, тотчас же узнавая в этом чекисте столь знакомый ему тип нелепо—доверчивого русского солдата. Вышел помощник, навеселе.

«Тебе, друг, чего?»—спросил он и, вдруг, изумился весело:

„Поп?! Откуда Бог послал?“

„С торфяных разработок. Трое умерло от истощения... Остальные больны. Цынга.. Нужны продукты и врач. Больше месяца никто не был».

„А не был, значит, нельзя было,» — ответил помощник веско, все еще улыбаясь. Говорили, что он пропивал пайки ссыльных. « Мрете, значит, как мухи,—прямой путь в царствие небесное“. Он захохотал. В этот момент вышел латыш и презрительно отстранил помощника рукой.

„А кто позволил оставить работа?“—спросил он, произнося каждое слово отдельно “ Ты бежать хочешь» Зеленые глаза его, под желтыми бровями, блеснули остро, как змеинная чешуя. «Запереть его в карцер!»

Солдат, суетливо и неуклюже, схватил монаха за рукав и поволок, сопя, на двор.

«А карцер то нетопленный, товарищ комиссар,»—вдруг остановился он: «Как же я стеречь его стану?»

«Запереть в комендатуру!»

Комендатурой звалась теплая пристройка к дому, куда являлись ссыльные на отметку. Монах и сам не раз стоял там в очереди. В избе была печь, скамья; он вспомнил об этом с радостью—можно будет лечь. Солдат втокнул его и запер снаружи на засов; внутри было темно, окна за решеткой наглухо промерзали. От печи в углу густо несло теплом. Наощупь он нашел скамью, сел, снял рясу, стащил валенки, отряс и положил ступнями к печке, себе в изголовье, и с наслаждением вытянулся, покрыв ноги. Усталости он не чувствовал, была вязкая истома, гуденье в ногах—«гудят как электрический столб» вспомнил он с улыбкой выражение своей сестры; так бывало и на войне после приятного похода. И даже есть и пить не хотелось; все еще трепетно горела кровь от причастия. Но сон не шел. Это было уже состояние переутомления, когда усталость переходит в игру нервов, в роенье мыслей, и привести их в покой долго не удастся. Он лежал и думал, бессвязно, быстро забывая продуманное; если бы его спросили, о чем он только что думал; вероятно он не мог бы ответить. Жить так, чтобы совсем забыть тело, жить бестелесно! — опять говорил он себе. Весь последний век шло чудовищное обожествление тела, тем самым отпадение от Бога. И страдания человека, те неизмеримые страдания человека нового мира и, прежде всего, в России,—не являлись ли они, в конце концов, следствием этого отпадения от Бога, возмездием? Жить, стремясь приблизиться еще в жизни к смерти, не к смерти как труп в гробу, нет,—забыть, по возможности, тело,—тогда не страшна смерть: умирает тело, -жить духом. Но как раз страдания заставляли его чувствовать тело, попирали душу, ибо тело не могло не

чувствовать боли. Для того боль тебе и дана — убеждал он себя,—чтобы укрепить душу; терпи, раз ты до сих пор ценишь тело, больше чем душу. Но кому нужны эти телесные страдания, отвлекавшие его от души, они не могли быть нужны Богу? Они не Богу нужны,—отвечал он,—а человеку, тебе, в первую очередь, ибо должен ты прийти через муку страдания, чтоб очиститься. Россия отступилась от Бога, и вот она проходит через великое страдание, очищаясь именно этим страданием. Но почему же,—он даже привстал на локти и говорил в темноту, как к собеседнику,—почему не грешившие также страдают? «Не пощажу страны грешной» — вспомнил он, содрогаясь «и все праведники не спасут ее от гибели». Ах, нет! — почти закричал он,—это не голос Бога! Не может Бог предать гибели ребенка, рожденного, страдающего и умирающего здесь, в этой грешной стране, без познания Бога, не может казнить язычника, умершего не крещеным! Ах нет, шептал он,—нет, Бог милостивей, чем сказано там у пророков! Но ты богохульствуешь,—ужаснулся он,—ты хочешь быть добрей Бога! Опустившись на скамью он долго еще лежал без сна, слушая темноту думал: Россия и очищение страданием?—Тогда нельзя было бороться с ними, с латышем и другими?..

Утром солдат принес хлеба и кипятку и посмотрел на него мягко и, как будто, с сожалением.

«Собирайся в путь дорогу,»- объявил он неожиданно: «Путь дальний... Пожитков у тебя кот наплакал, кожа да кости- нести не тяжело, не устанешь.»

«Куда?»—спросил монах, скорее машинально.

«А туда откуда пришел»

«А как же припасы, доктор? Там люди мрут!»

«А это не наше дело Говори-завтра подвода пойдет»

«Так я на подводе поеду. Чего же мне идти»

«А дадут тебе, я так думаю»,—отвечал солдат «и без того билет дальнего следования. Поедешь, значит, не скучай..» И он засмеялся. «Пей чай, шевелись, Богу помолись,—да в путь дорогу становись.»

Через полчаса его, действительно, вывели, солдат с винтовкой пошел сзади, но не утренний, а новый, впрочем с тем же неумолимо русским лицом. Ни латыш, ни помощник не показались, и монах с грустью подумал об оставшихся в избушке. Проходя мимо церкви он вспомнил о вчерашнем вечере, об отце Федоре, и опять ему стало жалко того: вновь он почувствовал, что старый священник скоро умрет. «Но ведь и мы все умрем скоро»—подумал он. «Почму ты жалеешь его только, ты тоже умрешь!» Однако, хоть он и знал всегда теоретически, что скоро должен погибнуть, он не чувствовал своей смерти столь реально, вещественно, как смерти отца Федора.

Было еще рано, далеко до полдня, дул легкий ветер. Белое небо тускло дымилось, серые сухие облака опускались над солнцем, похожие на испепеленные угли. И когда солнце зашло за них, скипетр черных лучей вознесся по небу напоминая что то библейское. Крошился мелкий снег, словно сыпалась холодная острая зола из этих перегоревших облаков, щипало щеки. И почему то все это порождало в нем чувство детства, тех зимних дней, когда он бегал в Петербурге в гимназию, в шубке с меховым воротником, когда на земле было как то ясней и чище: зимы были морозней, лета—жарче, весны—ярче, осени—грустней, — и он радовался этому воспоминанию. Вот и ели казались сегодня, совсем как в детстве, белыми, усатыми и бородатыми чудищами... Шли молча. Солдат говорил в начале что то, но, углубленный в свои думы, монах не расслышал, и тот прекратил разговор. Над лесом вразброд каркали вороны взлетая тучами с елей, «Ишь их разобрало», — заметил солдат — «пургу плачет, нечистая сила». И это замечание опять отдавало старой Россией, народной приметой, тем добрым временем, когда люди жили проще, непосредственней, ближе к земле. Он взглянул на своего конвоира. И подумал; вот он—солдат ГПУ, задачей которого является мучить и убивать, но не бывает непоправимо злых людей; всякий таит в себе что то хорошее, несомненно и этот... Когда они вышли из леса, в чистую тундру, кинулся со всех сторон ветер и сразу же стало гораздо холодней. Поземка вилась по снегу, кипели снежные ручьи, то сливаясь вместе, то взлетая со свистом вверх, как летучие белые змеи; рассыпаясь, обдавали лицо мокрой пылью. Где то совсем далеко белела густая стена, небо стало пушистым и сечение его с тундрой скрылось.

«Ишь правду каркали...» заметил опять солдат: «Теперь, брат, смотри в оба, как бы не сбиться». Он запахнул своей шубой и крикнул чужим, злым голосом: «Прибавь шаг!» Они шли еще некоторое время, дорогу дальше почти уже замело, но идти пока не было трудно—ноги ступали плотно. Мятели настоящей не было, одна-поземка, снегом было не выше коленей. У монаха от ветра остро заболел лоб. Он надвинул шапку глубже, оглянулся, некоторая тревога запала в его душу, но он привык давно уже к состоянию этапов, когда думает и решает другой, и ничего не сказал солдату.

А затем разом вдруг потемнело, сизое тучное облако охватило полнеба, как дым метнулся снег, залепляя глаза, нос и рот, забираясь в рукава и за воротник; стало трудно дышать.

«Стой!» закричал солдату». Голос его докатился глухо; вокруг, беснуясь и свистя, густой стеной, плясали белые змеи. «Стой, дальше не пойду, погибнешь здесь с тобою. Один те-

перь пойдешь,—а воротишься—к стенке—это знай, пощады не будет!.. Понял?»

Монах хотел возразить, но тотчас же, почему то, даже обрадовался одиночеству, и кивнул машинально головой.

«Велели мне тебя кончить,»—продолжал солдат—«ежели скучно будет идти, но не хочу греха брать. Все одно, ты и сам кончишься. Не дойти в твоей амуниции,—ишь крутит. Да и с дороги собьешься... Ну пошел, што ли,—сиротина!..»

Монах молча тронулся вперед.

«Постой!—закричал опять солдат»—«Деньги у тебя есть?» «Деньги?» удивлся монах—«какие у меня деньги?»

«Эх, дядя, и взять то с тебя нечего. Давай что ли хоть колючко,—все одно погибнешь...»

На руке монах носил всегда—чтоб не отобрали—старое обручальное кольцо, хоть и знал, что это не полагается ему и было это кольцо единственное, что осталось у него от былой жизни; та же, с которой оно было связано, жила где то за границей, в эмиграции; двадцать лет прошло, как они потеряли друг друга из виду. Он колебался.

«Все одно погибнешь, не дойти,» уговаривал солдат—«че го жалеть... А я невесте отнесу, помнить будем.. Теперь такого не найдешь.» Монах снял кольцо. «Ну, прощай... Ступай, может и дойдешь. Ни з каком случае не садись, изо всех сил иди.. Иди и иди, не садись. Как сел,—погибшее твое дело, замержнешь за живую душу... Иди и иди—к вечеру, должно, ляжет..»—Он кричал еще что то, удаляясь, и махал рукой, но голос его уже не был слышен, и затем исчез, весь обметенный снегом.

Монах тоже пошел. Не было видно ни неба, ни тундры. Кругом стояла белая мгла, кипенье, свист и гул, как от далеких машин, как шум прибора. И он чувствовал себя, уносимым этой свистящей белой мглой—в какую то пропасть. Дорога была пока под ногами; как только он сбивался, ноги сразу проваливались, и он поспешно выбирался обратно. Он знал, что дорога все время вела вдоль реки надо было только не отдалиться от берега, тогда он не сбился бы с пути. Ветер захватывал полы рясы, мешая ходьбе, за валенки забивался снег. Первыми стали мерзнуть колени а потом холод остро побежал вверх по рукам, по желобку спины. Монах сжался всем телом и ввел глубоко голову в плечи. Ресницы его совсем слиплись впрочем он не видел и на три шага вперед и шел наощупь, почти не отнимая ног от дороги, то и дело скользя на раскатах и выбрасывая руки. Он не думал о том, дойдет или погибнет, все внимание его было сосредоточено на ходьбе. Он позабыл даже и о холоде, только иногда тело сотрясалось вдруг от судороги, когтисто пробежавшей по спи-

не. Скоро он понял, что пройдет так еще минут двадцать, может полчаса, не более... От испуга он ускорил шаг, и полубежал теперь, падал иногда и вновь подымался, задыхаясь, весь вымокший от снега: ряса внизу расстегнулась. Не замечал он, что метель стала легче, снег повалил косыми рядами, хлопья стали гуще, не металл уж острой снежной чылью... Вдруг, не сознавая, что происходит, он покатился куда то вниз. «Господи, прости мне мои прегрешения,»—сказал он, закрывая глаза и думая, что погубает.

Пришел он в себя в лежащем положении. Кругом было тише, ветром сюда хватало меньше, даже как будто потеплело. Он лежал на снегу. Сверху, косо и густо, валил снег, а совсем низко, над головой, возвышалось что то черное. Скоро он разглядел: то был борт лодки под снегом. В пурге, видно, сбился он близко к берегу и упал с края опрокинутой лодки. Он попробовал подняться, сразу же однако оставил свои усилия: идти дальше он не был в состоянии, и подполз под кузов лодки. Здесь было еще теплее. Он вырыл ямки, навалил снегу с внешней стороны и лег, совсем обесиленный. «Ты замерзнешь,»—убеждал он себя,—„вставай, иди, иначе замерзнешь“,—опять пытался пошевелиться, наперед зная, что не встанет, и такое же состояние пережил он раз в тюрьме в сыпном тифу... Сначала стало даже жарко, снег под телом подтаял, повалил пар, но скоро он начал дрожать, согнулся в калач, особенно мерзла спина. «Вставай немедленно, иди дальше, ты замерзаешь,»—говорил какой то голос, все слабей и слабей, потом утих, а с ним стал проходить и холод... Вовсе я не замерзну,—обрадовался он—здесь совсем тепло... Его клонило ко сну. Ты умираешь—осознал он снова—так всегда умирают замерзающие. Но страха смерти не было. „Так это смерть?“—спросил он себя, где то внутри, с недоверием и удивлением: «Как это не страшно!» И рассмеялся радостно. Как это не страшно и как он боялся смерти втайне думая, что все отрицание земного существования и все утверждения о другом высшем назначении человека, надежды на загробный мир,—все это, в сущности лишь, боязнь смерти, жалость и жажда земной жизни... А вот совсем не было страшно и совсем не жалко! Он вспомнил, что сегодня было 24-ое декабря, канун Рождества, и тут же другая мысль вытеснила это сознание: 24-го праздновали Евгению. Его мать звали Евгений, сегодня были ее именины. Увидит ли он ее сейчас?.. Но, странно,—чувства смерти все еще не было.. Верил-ли он в смерть?—спросил он себя и удивился, что не чувствовал больше тела,—может быть он уже умер?.. Да, да, он верил в смерть, отвечал он на свой вопрос. Умирает дерево, умирают звери,—почему же не умирает человек?.. Разумеется он умрет теле-

сно, и он попробовал представить себе свое тело после смерти и странно—оно куда то летело и нигде не находилось ему места.. И вдруг его озарило, что, в сущности, из этого мира нет никакого выхода, что тело его неизбежно останется в нем—он даже приподнялся на локоть, взглянул вверх. Во мглу, и остро ужаснулся ее непонятности, темной чудовищности. Вот теперь, скоро, должно все открыться, пришел ему в голову. Он попробовал думать о мире и заметил удивленно, что когда представлял его себе, как шар, мысль его точно описывала круг, а думал он о нем как о плоскости,—мысль его словно вытягивалась,—была. вообще, готова ко всякой другой форме... Разумом ничего не понять, подумал он,—скоро все откроется... Он вспомнил, с каким радостным ужасом он думал иногда о том, как ему при умирании откроется загадка мира,—по вот, он умирал, и ему ничего не открывалось, разве только, что он сам, в какой то мере, создавал мир, что разумом своим он был способен за один раз объять и постигнуть весь мир, любую его величину, любую форму, его будущее и прошлое—значит дух человека был выше чистой физики мира и мир являлся, как-то, только произведением его духа?.. И, неожиданно, с совершенной ясностью и неопровержимостью, он ощутил свое бессмертие!.. Вот оно началось,—подумал он в напряжении—я умираю, это мне открывается тайна...

«Я умираю,»—сказал он тихо и пошевелил всем телом. „Боже прости мне мой прегрешения... вольные и невольные... Прости им»—продолжал он, думая о латыше, о русском помощнике, о солдате; а потом встали перед ним избушка, оппозиционер, генерал... Он заплакал. «Боже, прости Россию, сжался над твоим народом...»—шептал он, уже теряя сознание. И тут увидел он белое поле в ослепительном блеске,—был ли то снег, или чтонибудь другое он почувствовал волны теплого света—и на нем множество коленопреклоненных молящихся.

Все они смотрели в одну сторону и плакали, среди них он увидел и мать свою, ее худое, измученное лицо в черном платке, как запечатлелась она ему последний раз, когда он еще не знал, что больше ее не увидит; она тоже плакала и молилась. А дальше был огромный сияющий храм и на ступеньках его стояли священники, русские священники,—босые и в рубищах, из которых многих он знал по ссылке, где они умерли и тоже молились... И он ждал дальше, думая: вот я умер, мне дается разгадка,—и увидел, что дверь храма распахнулась, и, быстро и гневно, вышел Христос и—остановился надолго перед молящимися, а потом улыбнулся и пошел, блистая одеждой, меж рядами, и лица молящихся разом просияли, но слезы еще дрожали на их глазах, и они целовали

одежды и ноги проходящего... Тут он заметил, что мать его улыбнулась ему, и услышал ее радостный голос: «Россия прощена... Спаситель идет в Россию». И он сам видел, что Христос шел, опускаясь ему навстречу, сквозь необозримые ряды женщин, священников и крестьян, плачущих и простирающих к Нему руки; перед ним летели ангелы. Полет их был звучен...

Монах поднялся и сам пошел Христу навстречу, удивляясь, что еще сохранил свое тело. Видение храма пропало, он шел словно по дну какого то утонувшего мира—в страшной и темной глубине. А с высоты светила ему, ровно и неизменно звезда, будто ее несли перед ним, и он держал на нее путь—на этот синий свет, содрогавшийся от собственной чистоты, и полет ангелов был ему до сих пор слышен...

Удивлялся он, что ноги его так тяжелы и непослушны, что тело так болезненно разбито. Он хотел присесть и не знал—может ли он теперь это сделать, как что то черное и шумное покатилося ему под ноги с ревом, он ощутил боль и увидел собаку, беснующуюся около него на утопленном снегу. «Собака?»—подумал он удивленно: «откуда взялась собака?» Сбоку вырос темный силуэт шатра, стояли дома вздымающийся в звездное небо; запах еды стоял в воздухе, раздавался плач ребенка. Полоска света показалась в шатре, стала шире, отпахнулась полость и оттуда выполз человек, весь в мехах, но с непокрытой головой и, увидев его, вдруг пал на колени. Где я, — недоумевал монах — что это?

«Боже, понял он разом—Боже!.. Это самоед, его чум. Я не умер, я живу... Благодарю Тебя, Боже!» И смеясь он кинулся поднимать самоеда, застонал от боли в спине, и потерял сознание.

Он очнулся с приятным ощущением тепла во всем теле и что кто то растирал ему ногу; сначала он не мог ничего разобрать, ощущался руками: он лежал на мехах, рядом с ним горел огонь, с одной стороны жгло лицо, дымом щипало немного глаза. Лежал он в одном подряснике, около его босых ног сидел на корточках самоед в пестрой рубахе и растирал их чем то. Он повернул голову, ощущая легкую боль в шее, и увидел мохнатую собаку перед огнем, лизавшую из чашки. Глаза их встретились, собака повела ушами, перестала лизать, смотрела на него. Он улыбнулся, повел взглядом дальше и встретил женское скуластое лицо, похожее на печеный картофель. Скулы на лице блестели жирным медным блеском, глаза были опущены вниз, женщина сидела на полости перед огнем, одетая в меха, кормила грудью—из за ее пазухи выглядывала голова ребенка, покрытая нежным, черным пухом... Вскоре она подняла голову, блаженно и невидяще улыб-

нулась, и тут заметила монаха и быстро и испуганно что то сказала... Самоед тоже поднял голову, и увидя, что монах не спит, заговорил, скаля желтые здоровые зубы:

«Твоя цел будет... Гулять завтра будешь. Кха.»

«Спасибо»,—ответил монах—«Спасибо, как зовут тебя?»

«Миколай»,—отвечал весело самоед: «Зачем спасибо, не надо спасибо—русский шаман хороший человек, никогда не обижал самоедов. А я думал „продолжал он без всякой передышки“,—русский Бог пришел—в тундре нет больше русский шаман,—думал ты русский Бог—испугался очень... Сегодня у русского Бога большой праздник...»

И он долго рассказывал еще о чем то, и из всех слов его монах понял лишь с трудом, что самоед ездил в деревню сдавать шкуры, по дороге жене пришлось время, он стал чумом за лес, за ветер, и жена родила ему на-днях сына. За все время рассказа лицо самоеда весело и медно сияло, множество морщин придавали ему что то примитивно—лукавое, монах вспомнил вдруг о книжках про индейцев, читанные им в детстве и давно позабытые.

„Вот“—объявил самоед, прекращая натирать, вытер руки о черные жирные волосы и легко, как обезьяна, перекинув свое тело на одних руках к огню, снял какой то котелок и протянул его монаху, вместе с деревянной ложкой «Вот»,—повторил он—«Твоя кушай надо. Много кушай над.. Твоя худой, помереть можно...»

В котелке была уха. Монах с наслаждением стал хлебать, поддевая ложкой куски рыбы, а самоед все говорил:

«Вареный не хорош, сырой—хорош. Кха.»—Он оглянулся и зашептал: «Завтра оленя убью... Они,»—он указал куда то наружу: „не велят, а я убью—ты не сказывай. Сына принесла—кровь пить будем. Кха.»

И самоедка издала тот же гортанно радостный звук. Монах посмотрел на нее. Раскосые глаза ее были поразительно глубоки, добры; удивительным миром веяло вообще, от ее грязного, сального, примитивного лица, от всей ее позы.

„Сегодня великий праздник, Николай“—обратился он к самоеду. «А сына твоего мы сейчас окрестим. Дай воды. Он должен служить Христу, истенному Богу—слышишь»

«Хорошо»,—самоед лукаво улыбнулся: «У Русских добрый бог, мягкое сердце... У меня тоже русский бог есть...» Он вытащил из за рубахи грудной деревянный крестик на грязной тесемке.

Монах улыбнулся и поднялся с трудом. Самоедка доверчиво открыла мех, обнажая грудь,—на ее теле спал, блаженно перебирая губами, мокрый голый ребенок.

«Как хочешь назвать его?»,—спросил монах у матери.

«Иван»,—отвечал поспешно самоед, подавая воду „Иван“ „Во имя отца и сына и святого духа,“—начал монах и трижды помазал лоб ребенка водою: «крещается раб Божий Иван..»

«А ты ему бога на шею дай,»—остановил самоед и опять вытащил свой крестик.

«У меня нет с собою. Не перебивай.»

Самоед замолчал, стоял безучастно рядом, но скоро снова притронулся до локтя монаха и заговорил просительно: «Я тебе завтра мяса давай, рыбы давай... Твоя кушать надо, много кушать надо—я тебе с собой давай.. Я тебя отвезу на оленях—у тебя дома есть для него русский бог?..»

«Хорошо»—сказал монах улыбаясь, лицо дикаря просветлело.

„Моя водка пей немного,“—заявил он, извлекая откуда то бутылку: «Твоя тоже?» Он шумно открыл губами пробку.

«Нет,»—покачал головой монах и опять улыбнулся. Ему не хотелось сбивать радость дикаря и запрещать пить; в чуме стало душно и он вылез наружу.

Было уже утро, рассвет, но солнце еще не всходило. За ночь выяснило, вывездило. На востоке широко и радужно разлилось небо, как отблеск некоего невидимого великого торжества, могущественных огней, пылавших где то за горизонтом вином мире. А на западе небо было чисто, нежного зеленого цвета, как мерцающая росой трава; черные линии лежали на этом фоне от голых ветвей берез, возвышавшихся в дали над тундрой,—все походило на гравюру. Воздух—чуть синий еще казался густым, застывшим; было необыкновенно тихо. Монах поднял голову. Высоко высоко, в синей мгле рдели звезды, как капли воды, и над самым горизонтом стояла и чисто горела отдельно одна совсем янтарная—монах содрогнулся при ее вида, вспомнив вдруг ясно и радостно вчерашнее видение. Христос шел в Россию!

— „Христос рождается“—запел он громко, смотря на звезду: „славите Христос с небес срящете...»

Когда он запел, собака, высочившая вслед за ним из чума, взвизгнула и начала прыгать и тереться об его ноги, а потом громко завывала, все кидаясь корпусом в одном направлении, как будто знала его. Машинально он сделал один шаг. Собака побежала, виляя хвостом, к лесу, по синему снегу.. Отбежав немного, она остановилась повернула голову и выждала, пока он приблизился. Он следовал медленно, перед ним плыла янтарная звезда; над деревьями взошло солнце, как огромный красный тюльпан. У леса собака остановилась и взвыла один раз-коротко, глухо, словно глубоко вздохнула и захлебнулась. И монах вдруг понял, что случилось что то

страшное и заметил, что под сосной сидел, скрючившись, человек, весь занесенный снегом, рядом с ним торчала винтовка. И тотчас же он узнал вчерашнего солдата. Непомня себя, он кинулся за самоедом, тот пришел и стал что то делать, склонясь над солдатом, а монах все молился: „Господи помоги, помоги!“

«Кончай его дело» сказал самоед, подымаясь: «Сегодня кончай, скоро кончай.» И он хотел идти.

„Стой, куда ты? Его надо взять, отогреть“. — остановил его монах.

„Нельзя отогреть... кончай его дело... сейчас,“—он помолчал: «Твоя его не жалея—плохой человек. Бог землю, воду, лес, зверя даром людям дал—они хотят все плати, все им надо,»—он указал на солдата: „Моя не жалея...“ И опять он хотел идти. Подозрение вдруг охватило монаха:

«Ты, ты давно знал, что он тут?»

«Моя?»—переспросил самоед: «Нет, Миколай не знал, что человек лежал. Моя собака лаяла ночью — плохо лаяла. Когда ты шел, собака хорошо лаяла—хороший человек идет, тут плохо лаяла, моя думал—худое, злое ходит. Всякая вещь есть душа, зверь, человек, олень, чум—все есть душа. Хорошая злая,—собака чует., Моя не знал, что человек.» И он пошел.

Солдат или умер уже или был присмерти. Монах встал на колени и начал читать отходную...

Потом поднялся. Матовое, мертвое солнце висело над миром, тускло и ледянисто мерцали снега, деревья стояли, как окованные белыми цепями, и воздух словно застыл между ними, и все казалось картиной из ледниковой эпохи—белой, мертвой пусвыней. И его самого—если не сегодня, то завтра—наверняка ожидала смерть, ибо—монах знал это его обвинял теперь еще и в убийстве солдата, и все таки было легко на душе, оттого что как—ему казалось,—эта душа ушла в мир, где полагается быть всякой человеческой душе, и что смерти, в сущности, нет, и что на земле остался у него только один долг: дойти до тех, кого он оставил позавчера, и принести им последнее напутствие,

